

Российская Академия Наук
Институт философии

А.Н.Мочкин

**РОЖДЕНИЕ «ЗВЕРЯ ИЗ БЕЗДНЫ»
НЕОКОНСЕРВАТИЗМА**

Москва
2002

УДК 320
ББК 66.01
М 86

В авторской редакции

Рецензенты:

кандидат филос. наук *А.В.Захаров*
доктор филос. наук *Т.В.Казарова*
кандидат филос. наук *Т.П.Лифинцева*

М 86 **Мочкин А.Н.** Рождение «зверя из бездны»
неоконсерватизма. — М., 2002. — 138 с.

Книга посвящена проблемам неоконсерватизма, его влиянию на складывание политического климата 20–30-х годов XX века и, в частности, его воздействию на формирование тоталитарных режимов России и Германии. Тоталитаризм раскрывается как некий особый «третий путь», который в условиях «догоняющего» развития России и Германии в XX в. выполнял функции специфической политической технологии, специфического политического режима, обслуживающего этот тип развития.

Книга адресована специалистам в области истории сравнительной политологии, истории политической философии, всем интересующимся проблемами взаимосвязи философии и политики как формы ее опосредования и практической реализации.

ISBN 5-201-02082-8

© А.Н.Мочкин, 2002

© ИФРАН, 2002

«И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя. И он сделает, что всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено будет начертание на правую руку их или на чело их».

(Откровение 13:15–16)

Введение

Завершившийся XX век своеобразно подтвердил высказывание Екклезиаста, утверждавшего: «Всему свое время, и время всякой вещи под небом»¹.

Почти одновременно в различных странах континентальной Европы первой трети XX столетия возник чудовищный по своей сути феномен авторитарно-тоталитарного государства — этого «зверя из бездны» апокалипсиса, и все живущие в этих государствах-монстрах люди были обречены носить на себе «печать зверя», отличающую их от всего остального человечества.

Классическими образцами этого государства-монстра стали: первое социалистическое государство, возникшее в 1917 году в России, и национал-социалистическое государство, оформившееся десятилетием позже в Германии. Именно в этих странах возник впервые в истории человечества феномен тоталитаризма как специфической смеси этатизма, национализма и индустриализма.

И если в других странах (Италия, Испания) и возникали некие «подобия», «стертые копии» классического образца, то были они как «разбавленное вино», не

обладающее ни крепостью, ни «чистотой букета» классики. Как отмечает исследователь итальянского и немецкого фашизма Н.В.Устрялов: «Рядом с русским размахом, русскими масштабами и возможностями итальянские события неизбежно бледнеют»². И это с одной стороны, с другой — он констатирует, что между русским социализмом и немецким национал-социализмом происходят процессы взаимодополнения, взаимовлияния, позволяющие говорить о сложном процессе «большевизации фашизма и фашизации большевизма»³, — процессы, которые начались еще задолго до формирования тоталитарных государств и как бы готовились на протяжении всего XIX столетия.

Уже в середине XIX века в России, до того ориентированной на идеи Великой Французской революции, происходит своего рода «переоценка ценностей» и переориентация идеологических пристрастий и вкусов. Взоры первых, да и затем и поздних, славянофилов и «патриотов» обращаются к Германии, точнее, к объединенной Германии (с 1871 года), к германской, — и в частности, прусской метафизике И.Канта, Г.В.Гегеля, Г.В.Шеллинга и т.д. В свою очередь, под воздействием русских, путешествующих в Германии, пробуждается активный интерес к русской литературе, православной мистике, панславистским националистическим идеям.

В конце концов, этот «духовный брак», это «избирательное сродство» и взаимное внимание уже в первые годы после Первой мировой войны XX века дало свои «плоды» в форме первой и второй русских революций и, как бы в ответ, революционных волнений в Германии 1918 года.

И если русские революционеры всегда подчеркивали свою духовную родословную, связь, преемственность от немецкой идеологии и, в частности, немецкого марксизма, то, в свою очередь, немецкие национал-социали-

сты имели столь выраженную «русскую» компоненту, что это даже позволило ряду исследователей говорить о «русском лице немецкого национал-социализма».

И хотя внешне оба режима с враждебной ревностью относились друг к другу, подобно «братьям-близнецам» — антиподам, но, тем не менее, такая духовная связь, переплетение в процессе своего духовного становления, были вполне материальны, вплоть до того, что само боевое оружие, мастерство в будущем враждующих армий, выковывалось в одних и тех же учебных заведениях, на одних и тех же производственных площадях, предоставленных Россией Германии в 30-е годы. Эти странные отношения «любви-ненависти» — алголагнии, как говорили раньше, — в 1939 году в тайне от всего мира завершились сепаратными сделками — соглашениями о будущем переделе сфер влияния, границах нового мирового порядка, на который претендовали лидеры этих тоталитарных стран.

При всей вражде идеологий, существовавших между этими странами, имелось общее, родовое, отличие — сходство, которое своеобразно объединило их как во внешнем мире, так и в мире внутреннем. Каждое из этих государств-близнецов внешне выступало против единого врага — либерализма и тех стран, в которых либерализм является господствующей идеологией. И это был как бы «внешний враг», против которого выступали политические лидеры обеих стран. Но был и единый «враг внутренний», «пятая колонна», который изнутри готовил, подтачивал тоталитарные режимы. Это — социал-демократия в тех формах, которые она приняла в Германии и России.

Весьма характерно, что формы борьбы с внутренней оппозицией для обоих режимов были совершенно идентичными: высылка, запрет на право заниматься своей профессиональной деятельностью, концентрационные лагеря, в конечном итоге — смерть.

Политические лидеры обоих режимов, претендуя на новизну, уникальность своего исторического выбора всячески подчеркивали революционный, разрывающий с прошлым характер своей идеологии, несущий дряхлеющему старому миру возрождение и обновление путем вливания новых, свежих молодых сил, идей и мировоззренческих подходов. Только они разрешали все мировые загадки, по-новому решали старые, унаследованные от прошлого проблемы, — только они обещали населению своих государств исполнение всех желаний.

И именно им, как бы отвечая на эти пропагандистские лозунги и саморекламу, в свое время запальчиво, но, тем не менее, прозорливо проговаривал, кстати, высланный из большевистской России Н.Бердяев: «Напрасно вы, люди революции, думаете, что вы новые души, что в вас рождается новый человек. Вы — старые души, в вас кончается старый человек со старыми своими грехами и немощами. Все ваши отрицательные чувства — злоба, зависть, месть — приковывают вас к старой жизни и делают вас рабами прошлого»⁴.

И как бы красиво не драпировались, в какие бы «новые» тоги не рядились представители этого «нового строя», «нового порядка», однако политические и практические следствия из новой политики и практики с головой выдавали их истинные намерения и цели, точно соответствуя рецепту, данному еще в евангельском «по плодам». Воплощение выдавало замысел, цель и сами «плоды» прямо соотносили, указывали на то «дерево», на котором они произрастали. И никакая «мичуринская прививка» «груши на яблоко» не могла скрыть это изначальное происхождение, его историю и логику.

Концентрационные лагеря, геноцид собственного народа, внешний экспансионизм и внутренняя террористическая структура политики ради достижения утопической, но варварски реализуемой цели полностью выдавали идейную и мировоззренческую почву, на которой и произрастали эти «деревья», приносящие «плоды».

Тем самым и сама пресловутая «новизна», оригинальность и уникальность утверждаемого нового строя, «нового» порядка, особый «третий путь» выявляли себя как своеобразное повторение, повторение ошибок уже найденного в прошлом и отвергнутого в настоящем, решений и мнений, преодоленных ходом мировой истории.

Вместе с тем новизна действительно была, но только в чем? Новизна не в самом основании: все уже было известно, и в этом смысле — тривиально, но в сочетании, сама адская горячая смесь, возгонка «тривиальности» на псевдоидеологический уровень в качестве «откровений», «дара», пророчеств «кумской сивиллы», сама претензия на «новизну» — именно это действительно было находкой, привнесенной в социо-политическую культуру XX века — века массовых социальных движений. Действительно, новым явился широкий социальный охват, та массовая гипобулическая коллективная истерия, массовый фанатизм, психоз, которые охватили народы этих стран. Предрассудок вытеснил разум, коллективное бессознательное определило всецело рациональное поведение. Все, что на протяжении нового времени было вытеснено под воздействием рационализма и науки на периферию общественного сознания, было рудиментом давно ушедших эпох, вновь вернулось и с небывалой до того силой стало определять социальное поведение.

Примитивная ксенофобия в ее наиболее отвратительной форме — антисемитизме — стала основной идеологической детерминантой в национал-социализме Германии. В России же явный и неявный «ressentiment» — «зависть — месть» лег в основу идеологии, разрывающей общество на части, ставящий его на уровень гражданской войны, так называемой «борьбы классов», классовой борьбы пролетариата. И это-то в стране, которая по преимуществу была крестьянской, а сам пролетариат

еще нужно было во многом создавать и создавать в процессе догоняющего развития по отношению к другим странам Европы.

И если русский социализм и немецкий национал-социализм были едины в своих нападках на либерализм и социал-демократию внутри своих политических режимов, то было одно идеологическое направление, которое, как бы оставаясь в тени, тем не менее все же лежало в основании самих этих режимов, подчас оставаясь на уровне того самого предрассудка, бессознательного стереотипа мышления, обычая, традиции, которое не подвергалось критике, не отрицалось, а скорее было воздухом, атмосферой, в которой только и были возможны подобные спиритуалистические возгонки темной бессознательной части общественного сознания на уровень идеологических парадигм, определяющих само политическое действие, его стратегию и тактику.

Это был неоконсерватизм — политическое и, главным образом, идеологическое социокультурное направление так называемой «философии жизни». «Философия жизни» предшествовала как первой и второй русским революциям 1917 года, так и широко была распространена в Германии незадолго до прихода нацистов к власти в 1933 году.

Почти не имея ничего общего со старым традиционным монархическим реставрационным консерватизмом, отталкиваясь от него, неоконсерватизм был той «алхимической ретортой», в которой проводилась предварительная спиритуализация, «возгонка» предрассудков, обычаев, традиций и коллективных заблуждений на уровень идеологических мифологем нового времени. Именно в неоконсерватизме России и Германии на стыке XIX—XX веков создавалась новая, подчас физикализованная мифология, некий новый миф XX века, если вспомнить название одной из работ теоретика национал-социализма — А.Розенберга.

Феномен неоконсерватизма конца XIX — начала XX веков уже был описан нами в предыдущей работе «Парадоксы неоконсерватизма»⁵. Предлагаемое исследование посвящено специфической роли неоконсервативной идеологии в формировании тоталитаризма в России и Германии первой половины XX века, тех форм, которые принял неоконсерватизм в качестве того самого «воздуха», питательной среды, «первичного бульона», в котором только и возможны были мутационные изменения, породившие «зверя из бездны».

При этом сам неоконсерватизм оформившийся как идеологическое течение в Германии в последней трети XIX века, представляет собой весьма сложное, полиморфное явление. В нем сплавлены воедино почти все «периферийные» идеологические течения предшествовавшего периода развития Германии: от состояния полной раздробленности до объединения в 1871 году.

Это были и романтизм братьев Шлегелей (Фридриха и Августа Вильгельма), Л.Тика, и пиетизм, и националистически окрашенное почвенничество или, иначе говоря, националистическое народничество (Volk) движение (Volksstumbewegung), основанное Э.М.Ардн-том. Это были и попытки поиска народного духа (Volkgeist) как неповторимого синтеза, своеобразие гения немецкого народа, интегрирующего в себе единство нации, языка, климата, почвы или ландшафта, экономики и, в конечном смысле, единства расы. Сюда же можно отнести и тиранию Древней Греции над Германией как своеобразную криптомнезию, имплицитную память о светлом и счастливом существовании неразделенного, целостного народа, находящегося в мистическом союзе народа (Volk) с его кровью и ландшафтом, о котором писали многие поэты и писатели Германии (Гете, Гельдерлин). Это и учение Бахофена о так называемом материнском праве (1861 год), выдвинувшее идеи о фазовых моделях культурной революции, повлиявшее

на Ф.Энгельса с его учением о первобытнообщинном коммунизме. И комплекс идей, связанных с рождением или, иначе говоря, с возрождением Германии, развитых в работах П.Лагарда, идеи Р.Вагнера об искуплении и, наконец, метафоры Ф.Ницше, техническим истолкованием которых и явился национал-социализм.

В России в конце XIX века наблюдаются во многом сходные явления. Проникновение германской метафизики в конце века в России вылилось в размежевание раннего и позднего славянофильства, появление «западников». Поиски русской идентичности, «загадочной» русской души породило такое же почвенически-националистическое движение, которое в крайнем своем православном варианте дало такое самобытное явление, как К.Н.Леонтьев, который попытался опереться на старые религиозные культы (византизм) для достижения новых религиозных культурологических возможностей.

Тем самым «грибница», питавшая «зверя из бездны» весьма сложна и противоречива, но в целом она опирается на солидный пласт филогенетически бессознательного обоих народов и подтверждает правило, что социальный онтогенез повторяет филогенез, который в эпоху кризиса выявляет свою историческую глубину традиции в крови и почве каждого народа.

ГЛАВА 1 «ПУСТЫНЯ ШИРИТСЯ САМА СОБОЮ»

Уютный, гармонично рационализированный мирок, который выгородила, огородила для себя, европейская культура к концу XIX века, — «мир-крепость», — казалось бы, надежно закрытый от набегов пришельцев в начале XX века, неожиданно распался, распался с взрывом, разнесшим на куски почти все духовные достижения человечества, и вовсе не от врагов внешних, — опасность была изнутри.

Кризис естествознания, кризис социально-экономических отношений, кризис мировоззренческих парадигм поразил многие западноевропейские страны к концу XIX века. Противоречия обострились и накопились, а формой разрешения их явился не синтез и переход на новый уровень, согласно гегелевской философии, а война, — первая мировая война, — охватившая весь европейский континент.

Последствия ее, по крайней мере, в духовной области, были ужасны. От прошлого остались лишь несущие в себе память столетий прекрасные обломки былых значений. Духовную пустоту заполнили: динамичная, «стоящая по ту сторону» прежней аксиологии, отвергаемая ранее, «философия жизни», психоанализ, близкий к ним американский прагматизм, с его многообразием форм религиозного опыта, оккультизм, мистика, восточные религии и т.д. Культура потеряла свои межевые столбы, центр и периферия поменялись мес-

тами, иерархия ценностей уступила место аморализму норм и оценок, порядок сменился хаосом и пустота, нигилизм, пришествие которого предсказывал в своих пророчествах Ф.Ницше, вновь поставили вопрос о повороте «воли к жизни», к «воле к власти», к новой власти, иерархии, порядку, новым функциям культуры, стратегии и тактике жизни в этих новых условиях.

Пророчества неоконсерваторов конца XIX века: Ф.Ницше в Германии и К.Н.Леонтьева в России, — сбылись, духовная пустота стала единственной осязаемой реальностью.

Либерализм, господствовавший в политической идеологии XIX века в ведущих промышленно развитых странах Западной Европы, США и, в особенности, в Англии в начале XX века, потерпел первое и весьма ошутимое поражение. Ориентированный на свободу, главным образом, в области экономической, политической правовой, либерализм оказался не способным к решению проблем массового общества, впервые заявившего себя в этот период.

Свобода, взятая в ее негативном аспекте, как «свобода от...», защищающая индивида и группу от действия правительства в качестве свободы «laissez faire» и саморегулируемого рынка в условиях, поставленных под угрозу государственных рыночных отношений, в условиях, когда само существование индивида не было защищено никакими государственно-правовыми отношениями, а главное — имущественными отношениями, собственностью в послевоенный период, перестала удовлетворять потребностям индивида массового общества. Кровь, нация, раса, борьба, переросшая в военный конфликт различных государств за передел мира, и экономическое, политическое и, в конечном итоге, мировое господство, — никак не укладывалось в рамки либеральной концепции; трудности возникли и с появившимся в этот период тред-юнионистским, профсоюзно-корпоративным

социалистическим движением внутри самих воюющих государств. Социальная справедливость, равенство индивидов, вступающих в экономические отношения, регулируемые едиными правовыми нормами, в качестве базисных ценностей либеральной идеологии, были вытеснены социальным расслоением общества, вековыми традициями и предрассудками аристократии, противостоявшими эгалитарным идеям либеральной теории.

Борьба либералов с предрассудками и привилегиями была оценена как борьба с естественным порядком вещей, как борьба идеально сконструированного космоса, рационально заданной конструкции, с онтологией, с самой жизнью. Пришло время неоконсерватизма, который охватил духовное пространство цивилизованное общество и вширь, и вглубь. Стремление к свободе рыночного предпринимательства, игре свободных экономических сил сменилось на устойчивую тягу к абсолютным ценностям, стабильности и постоянной, неизменной идеологии, выражающей абсолютные ценности (может быть, даже и не реализуемые) повсюду и навсегда в качестве неизменных законов природы, общества и государства.

В борьбе против либерализма своеобразным союзником неоконсервативной идеологии выступил и социализм, существовавший в начале XX в качестве пока еще малочисленных сектантских кружков и партий, общественных движений, включенных в общее трудюнионистское, профсоюзное движение. Социализм в качестве основного социального импульса наследует основное либеральное требование «равенства», но «равенства», понятого как борьба за социальную справедливость, но не процесса производства как такового, а только социального распределения, обмена, равной оплаты за равный труд, равное участие в управлении производством и т.д. Главным врагом социалистов, поэтому, выступает само «денежное обращение» капита-

ла, финансовый капитал, утверждаемый либеральной теорией в качестве своеобразной «невидимой руки», задающей и регулирующей социальное расслоение и дифференциацию общества. Взамен социалистическая теория предлагает прямой товарообмен, бартер услуг и предложений, устраняющий роль и значение универсального посредника — деньги, денежное обращение и сам финансовый капитал, прямо и непосредственно не участвующий в процессе производства.

Верно нащупав основную движущую пружину торгово-промышленного капитала: «деньги» и «денежное обращение», — социалистические реформаторы пытаются найти утопические способы, которые, минуя процессы денежного обращения, являются путями реализации такого производства, в котором господствует прямой обмен услуг и предложений. Это основная тема многих «романов-утопий» социалистического направления: фаланстеров, общин, кооперативов, которые на практике при попытке их реализации неизменно заканчивались полным экономическим крахом. И весьма знаменательно, что попытки внеэкономического принуждения к труду, даже в этих романах-утопиях, при всех придуманных, идеально выстроенных отношениях, неизменно заканчивались насилием, подчинением грубой силе и т.д., что и отметили по-своему и как бы в ответ на эти попытки серии романов-антиутопий неоконсервативного толка, появившиеся в начале XX века.

Но ни эти романы-предупреждения, ни суровая проза «фаланстеров» не могли поколебать основное убеждение социалистов о том, что капитализм — это лишь короткий промежуточный этап на пути развития человечества, на смену которому с железной необходимостью уже в ближайшем будущем грядет новая социалистическая эра: освобожденного труда, труда, в котором будут преодолены все родовые «родимые пятна» капитализма и сопутствующего ему либерализма в виде

денег и денежного обращения и воцарится в своем полном величии социальная справедливость, равенство и братство людей труда и т.д.

И весьма характерно то, что и неоконсерватизм, с его переходом к вечным базисным первичным ценностям, и социализм, с его стремлением преодолеть, по крайней мере в теории, основные противоречия эпохи в виде денег и денежного обращения финансового капитала, едины в одном: капитализм — это то, что должно быть так или иначе преодолено; общество должно быть выстроено заново и на новых вечных, справедливых (хотя само понимание справедливости было различно) основаниях. Эти основания известны. И только революция — единственно возможный путь этой поставленной цели.

И в том и другом случае — это, по своей сути, «консервативная революция», поскольку речь идет о реставрации, возвращении, реконструкции «подлинных», «бытийных» оснований, уклонением от которых является капиталистическое общество и оправдывающий и теоретически благословляющий его либерализм.

Грань, разделяющая социалистические и неоконсервативные критические нападки, была весьма условна: оба направления были едины в пафосе отрицания существующего социального строя, различие было только в самом идеале, в образе того общества, которое предполагали построить представители того или иного направления. Но в том и другом случае это был выход из хаоса, пустоты, вакуума, который в условиях послевоенной ситуации представляла собой политическая сцена, оставленная либеральной идеологией XX века.

Оба направления — и социализм, и неоконсерватизм как в России, так и в Германии являлись направлениями «третьего пути», поскольку оба отталкивались от прошлого и не хотели буквального возвращения в прошлое: ни в феодализм, ни в первобытно-общинный

коммунизм, и вместе с тем, отрицали настоящее — капиталистическое настоящее современной им действительности. Цель их лежала в будущем — «третьем пути» как по линии развития «нового порядка», так и по линии построения грядущего коммунизма.

Но ирония истории или, если хотите, парадокс ее движения, состоял в том, что весь путь в будущее его строители, отмеченные «печатью зверя», механизмы и способы его построения брали не только из отвергаемого ими «настоящего», но и из столь отвергаемого ими прошлого в его самых атавистических формах, предрассудках, традициях и т.д.

Вместе с тем, следует отметить, что новое время принесло и «новые песни», и в данном случае — приемы и формы аргументации, приспособленные для масс, напоминающие во многом действия шаманов, пророков и религиозных реформаторов.

Анализируя генезис той или иной политической партии, направления идеологии, следует отметить, что само по себе любое такое политическое движение олицетворено, персонифицировано. Это всегда — «эпифания героя», который своей личной судьбой, биографией как бы задает рождение, становление и рост партии, темп и ритм партийного строительства, вектор ее развития. Судьба «героя» партийного мифа сродни древнему мифу, т.е. строится и излагается по схемам и архетипам «бессознательного рождения героя» мифологических времен. Речь идет о создании и, в данном случае, конструировании и реконструировании новой политической мифологии, в которой главным героем выступает сам политический (религиозный) реформатор, основатель нового политического видения, перспективы будущего движения человечества.

Герой всегда появляется на периферии политической жизни и постепенно, путем ряда чудесных превращений, путем борьбы добра и зла, где сам «герой» —

это новое, прогрессивное, доброе, прокладывающее себе путь среди враждебного окружения, путем присоединения своеобразного круга святых мучеников за идею добровольных жертв, павших в борьбе за его утверждение, расширения и пропаганды, проповеди и прозелитизма, охватывает широкие массы, становится лидером и выразителем их чаяний и надежд. И как подобает всяким религиозным реформаторам (а политический реформатор, лидер партии, им сродни) помимо критики, пафоса отрицания, борьбы с прошлым враждебным окружением, чрезвычайно большое значение придается в этой мифологизированной биографии позитивной программе, ее идеалу, лозунгу, который должен отличать новое, «единоспасающее» учение от других, пагубных, ересей.

И если это справедливо по отношению к основателям мировых религий, то представляется, что это так же верно и по отношению к основателям партийных движений и партий массового общества, которому чрезвычайно близка сама мифологическая структура, архетипика религиозного мифа, перенесенная в данном случае в область политических институтов и социальных движений. И в этом смысле биография лидера партии — это и есть история самой партии в ее становлении, что и подтверждает история социалистической и национал-социалистических партий России и Германии.

И весьма характерно, что питательной средой, «молоком», которым питается сам будущий «герой» — политический лидер-основатель — черпается им из оппозиции, из идей и мнений, противостоящих правящему, господствующему режиму. И именно в ней он обретает силу и страстность призывов и лозунгов, пафос отрицания существующего строя во имя своеобразно понятого будущего, которое, в силу самой специфики питательной среды, является такой же, целиком стоящей в прошлом, политической периферии, в данном случае —

претендующей на лидирующее положение — персонифицирующее и олицетворяющее себя, манифестирующее в этом лидере. Бессознательно усвоенные и затем сознательно используемые архетипы, традиции, предрасудки оппозиции становятся в новом реформаторском учении самой сутью проводимой реформы, поражающей казалось бы новизной хорошо забытого старого.

Здесь нет преемственности идей, а скорее разрыв с современностью, но тем не менее филиация предшествующих влияний позволяет оценить специфику, саму «смесь» в смысле составляющих ее компонентов, особенности субъективного выбора объективного материала, позволяющие судить о тенденции, направляющей выбор субъекта и в данном случае — субъективный фактор политики, его влияние и роль в политическом процессе. Это та самая пресловутая «роль личности в истории», которая сама в таком случае оказывается историей личностей, олицетворяющих и объективирующих ее. Только так можно объяснить столь резкие неожиданные «перерывы постепенности», возвратные исторические явления, переходы от «высших» стадий развития к «низшим»: от буржуазно-демократической республики, просвещенной монархии, империи, — назад вспять к авторитарно-тоталитарной форме правления, напрямую граничащую с первобытнообщинным ксенофобическим канибалистским режимами, которые сформировались в 20–30 годы в России и национал-социалистической Германии. Социальная «тень» и «свет» — здесь меняются местами: периферия смещает центр, эксцентрирует само общество, делает его поляризованным, прямо противоположным, согласно доведенной до афористической формулы: «кто был ничем, тот станет всем». Вполне возможно усмотреть в этом переворачивании рационального центра и иррациональной периферии бунт коллективного бессознательного, «культ Вотана», пришедший в движение (К.Г.Юнг), но только при этом

необходимо признать и автономность психического, его независимость от материального, социального субстрата, однако сам этот независимый психический элемент оказывается вполне зависимым.

И как считает К.Г.Юнг, вождь, лидер немецкого национал-социализма А.Гитлер — это персонифицированная проекция коллективного бессознательного, лидер-посредник, медиум, озвучивающий и реализующий коллективные архетипы: «Он подобен человеку, — писал К.Г.Юнг, — который внимательно прислушивается к потоку внушений, нашептываемых голосом из таинственного источника, и затем действует в соответствии с ним...» и «...что такое сам этот «таинственный источник»: «Попытаемся понять, как это с ним происходит. Он сам обращается к своему голосу. Его голос есть ни что иное, как его собственное бессознательное, в котором немцы спроектировали самих себя: это бессознательное семидесяти восьми миллионов немцев. Это то, что делает его могущественным. Без немцев он, вероятно, не казался бы таким, каким предстает сейчас»⁶. Отсюда следует интересный вывод: не воля лидера, героя определяет исторический выбор, а скорее наоборот, сама история в форме не всегда идеологически оформленных «видений», нашептывании «демона», диктует лидеру его будущие поступки и действия, ход и направление размышлений. Его воля — это концентрированная воля миллионов. Так осуществляется история и роль личности в ней. Личность лишь налагает субъективные оттенки и нюансы выполнения этого своеобразного социального заказа.

Весьма характерно, что и Н.Бердяев, очень далекий от глубинного психоанализа К.Г.Юнга, почти в то же время (1937 г.), представляя свою версию русского коммунизма Западу, писал: «Русский коммунизм трудно понять в силу двойного его характера. С одной стороны — он есть явление мировое и интернациональ-

ное, с другой стороны — явление русское и национальное. Особенно важно для западных людей понять национальные корни русского коммунизма, его детерминированность русской историей. Знание марксизма этому не поможет»⁷. Иначе говоря, здесь важно понять те «голоса», «нашептывания», которые определили само направление, известное как «русский коммунизм», в тех формах, которые он обрел в 20–30-е годы.

Отсюда следует и другой вывод, противоречащий общепринятому мнению, гласящему: «Идеи становятся силой, овладевая массами». Скорее наоборот, массы из кладовой памяти человечества выбирают только те идеи, которые как бы оформляют их бессознательные желания в формы лозунгов и транспарантов, отвечающих внутренним побуждениям и склонностям, делая эти транспаранты и лозунги побудительными мотивами своего поведения. Лидер лишь должен «угадать», оформить и направить эти побуждения в то русло, которое уже бессознательно выбрало для себя его окружение. Навязать свою волю, заставить делать что-то, не совпадающее с коллективной бессознательной волей — дело, обреченное на неудачу, хотя и возможно на короткое время создать иллюзию полного подчинения диктату и грубому насилию. Сама концентрация власти в одном лице — лидере покоится на коллективной либо бессознательной, либо осознанной воле масс, позволяющей сами эти авторитарно-властные распоряжения. При этом, и это следует подчеркнуть особо, речь в данном случае не идет о критериях «научности», «истинности», «всесильности» той или иной осуществляемой «коллективной воли», персонифицированной в лидере-вожде. Речь вообще не об этом, в принципе. Идеи — это только некоторые возможные варианты социального действия, только его вероятные модели, но выбор всегда на стороне «голоса», нашептывании коллективного бессознательного, архетипов его поведения,

заложенных в традиции, предании нации, народа, той или иной коллективной общности, выдвигающей в качестве своеобразной проекции того или иного лидера.

Общепринятое заблуждение гласит: «Учение все- сильно, потому что оно верно», тогда как скорее наоборот, верно настолько, насколько оно отражает, несет в себе все силы, все голоса и «нашептывания» коллективного бессознательного общества, насколько оно на практике реализует коллективную волю миллионов. В противном случае — это грубый диктат и произвол, авторитаризм, навязанный обществу.

Всякий научный проект, сколь бы сильно он не претендовал на истинность, вследствие научности или научности, вытекающей из истины, соответствующей идеальному образу социального устройства на уровне социальной практики, подвергается проверке личными судьбами миллионов, испытывающих на себе обкатку научной единственно истинной, едино спасающей теории, может быть, даже весьма гениального мыслителя. И всякое навязывание своей воли, даже с целью грядущего благого спасения человечества, собственно, и является той «печатью зверя», которая налагается на испытывающего насилие индивида, подавляет его собственную волю во имя становления того самого апокалипсического «зверя из бездны» самосознания того или иного теоретика, имеющего своей целью насильственное облагодетельствование человечества. Когда бесконечная палитра интерпретаций и толкований мира сменяется на единую, но казалось бы, истинную и верную интерпретацию, тогда и наступает период «зверя из бездны».

В России и Германии этот период наступил с приходом к власти в 1917 году особого рода партии — партии «большевизма», впервые поставившей своей целью насильственное насаждение «единственно верной, а потому истинной и всесильной теории» достижения земного рая, называемого в этой теории коммунизмом.

Россия на этом пути была первой и действительно дала невиданные миру образцы превращения огромной промышленноотсталой аграрной страны в «государство-крепость», осажденное со всех сторон враждебным окружением, но тем не менее строящее невиданное до сих пор, принципиально новое авторитарно-тоталитарное государство, коммунизм. Потом, в ответ на эту во многом авантюристическую попытку создания нового строя, будет фашизм в его итальянском варианте и национал-социализм в Германии, но примером построения которых явится все же образ действия, стиль большевистского руководства России.

При всех своих ссылках на «три источника и три составные части»: французский социализм, немецкую классическую философию и английскую политэкономия на практике большевизм явился их прямым опровержением, поскольку строился на иных основаниях. Из утопического социализма осталось лишь стремление к построению нового общества-утопии через использование рабского труда, насаждения страха и тотального террора, объединяющего и мобилизующего все общество. Из немецкой классической философии — метафизическое убеждение о том, что только «насилие» является повивальной бабкой истории, что всякий переход в ней осуществляется путем революции, в которой манифестирует себя историческая необходимость и торжество исторического разума, его диалектика. Английская политэкономия вообще была использована одной своей посылкой, состоящей в том, что источником богатства является труд и, в частности, неоплаченный труд, прибавочная стоимость, не распадающаяся в дальнейшем на собственную стоимость товара и оплату труда по его производству. Работа за так называемые «галочки» трудодней, жестко нормированный цикл повременной оплаты, учитывающий только количественный фактор при общем сохранении рабских условий

процесса производства стали основным источником так называемого «догоняющего развития». Но реально же общество «большевистского типа», общество авторитарно-тоталитарного характера, строилось на иных основаниях — основаниях, задолго подготовленных совсем другим идеологическим направлением, находившимся в тени просвещенного рационалистического XX века, неоконсерватизма, в его православно-мистической пророческой версии К.Н.Леонтьева в России и иррационалистически-волюнтаристской форме «философии жизни» Ф.Ницше в Германии.

Непризнанные при жизни «отцы-основатели» неоконсерватизма, как русского, так и германского вариантов, полностью и сполна вкусили горечь посмертной славы. Конец XIX — начало XX века стали временем их триумфа в области социальной апокалиптики и возвели их в ранг «пророков», которым при жизни не было «отечества», но после их смерти стиль, пафос их мышления стали не только откровением, но и единственно возможным способом объяснения социальной действительности, вступившей в полосу крутой ломки всех устоявшихся отношений. Реставрационно-консервативные оценки и мнения К.Н.Леонтьева в дальнейшем были продолжены в трудах православного мистика, апокалиптики и хилиаста С.Нилуса в серии его публикаций, ставших впоследствии печально известными «Протоколами сионских мудрецов», которые в 1919 году бароном А.Розенбергом были вывезены в Германию и стали основной идеологической парадигмой национал-социализма. И это — с одной стороны. С другой — Ф.Ницше, который окончил свой жизненный путь как раз на рубеже веков, в 1900 год. Уже в 90-е годы XIX века он получил широкое признание среди европейской интеллигентной публики, и особенно бурный успех его философия, в частности, произведения позднего периода, получила среди русской интеллигенции, в кругах писа-

телей и поэтов, определила во многом основной лейтмотив творческих усилий и так называемых «ницшеанских марксистов», людей окружения лидера социалистической революции — В.И.Ленина. Это и А.А.Богданов, и А.А.Малиновский, и А.В.Луначарский, и первый пролетарский писатель, основатель метода социалистического реализма — А.М.Горький.

И хотя у самого В.И.Ленина имеются лишь отдельные замечания по поводу философии Ф.Ницше⁸, можно предположить, что долгое пребывание за границей, в эмиграции, в европейских странах, переживающих почти повальное увлечение идеями немецкого иррационалиста, не могло не оказать своего влияния на складывание в дальнейшем большевистской концепции государства, как бы предвосхищенной в работах Ф.Ницше. Это «перекрестное опыление» двух культур, взаимное проникновение их, известная конгенность русского православного мыслителя и немецкого иррационалиста, опосредованное русской и немецкой неоконсервативной творческой интеллигенцией, помимо чисто экономических сходных задач, стоящих перед обеими странами, осуществляющими свой «третий путь» догоняющего развития, во многом определили и сходный социально-политический, духовный климат авторитарно-тоталитарных режимов России и Германии, стиль и пафос их идеологических установок, синхронизм политических акций.

ГЛАВА 2 ПРЕОДОЛЕНИЕ НИГИЛИЗМА НА ПУТЯХ ТОТАЛИТАРИЗМА

Духовная жизнь Европы последней трети XIX века наполнена поистине эсхатологически-апокалиптически-ми предчувствиями и ожиданиями, по крайней мере, так реагируют неоконсерваторы России и Германии.

Остро ожидаемое грядущее ощущение конца, гибели европейской цивилизации, декаданса, кризиса в социальной сфере и сфере культуры порождает, например, у Ф.Ницше весьма своеобразное восприятие будущего, которое сам он называет нигилизмом: «Я описываю то, что надвигается, что теперь уже не может прийти в ином виде: появление нигилизма. Эту историю можно уже теперь рассказать, ибо сама необходимость приложила здесь свою руку к делу. Это будущее говорит уже в сотне признаков, эта судьба повсюду возвещает о себе, к этой музыке будущего уже чутко прислушиваются все уши»⁹. В другом месте он пишет: «Нигилизм стоит за дверями. Откуда идет к нам этот самый жуткий из всех гостей?»¹⁰.

Этот клинический диагноз будущего социального развития Европы Ф.Ницше усматривает, исходя из своеобразной логики развития самой европейской цивилизации, и себе отводит «скромное» и весьма своеобразное место. Он выступает как «...философ и отшельник, по инстинкту находивший свою выгоду в том, чтобы жить в стороне, вне движения, терпеть, не торопиться, оставаться позади: как смелый и испытующий

дух, уже блуждающий когда-то по каждому из лабиринтов будущего; как дух вещей птицы, обращающей назад свои взоры, когда он повествует о грядущем; как первый совершенный нигилист Европы, но уже переживший до конца этот самый нигилизм, — имеющий этот нигилизм за собой, под собой, вне себя»¹¹.

Весьма сходную позицию внутреннего аутсайдера, человека, пережившего болезнь и теперь как бы выздоровевшего, дающего советы по исцелению, занимает и его русский «конгениальный» собрат по неоконсерватизму — К.Леонтьев. Ведь вся борьба, пафос борьбы К.Н.Леонтьева с западным либерализмом, с эгалитарными тенденциями века по сути своей были борьбой все с тем же протееобразным, полиморфным нигилизмом, являющимся как бы следствием развития и распространения либеральных идей, господствовавших в обществе, стремительно теряющем свои центростремительные силы, структуры, создающие целостность, единство, духовную слитность общества. Вновь обрести их общество должно было на путях утопически ожидаемой соборности, мистически обретаемой православной религии и грядущего христиански византийского воскресения — возрождения.

В отличие от К.Леонтьева, Ф.Ницше идет дальше, поскольку и сам феномен христианства, в том числе и православия, церкви как своеобразного социального института, тоже связывает, редуцирует к нигилизму, как одной из его форм в процессе двухтысячелетнего развития человечества в истории. И это весьма существенное, в то же время не отрицающее само явление нигилизма, противоречие во взглядах «отцов-основателей» неоконсерватизма, описывающих и взаимодействующих в своих описаниях, при всей кажущейся противоречивости, сам феномен нигилизма. При всей их взаимной противоречивости оба консервативных мыслителя воюют практически с одними и теми же социальными

проявлениями нигилизма, хотя и выявляют различную идеологию, различную «логику происхождения» и намечают различные пути их своеобразного утопического преодоления.

Так, например, «зашоренность» К.Н.Леонтьева православной эсхатологией во многом определила и мистическую форму разрешения нигилистических тенденций своего времени, решений, с одной стороны, поражающих своим провидческим даром, с другой — крайней реакционностью: «подморозить», «задержать», «стеснить» социальное развитие — методы, предлагаемые им в качестве спасительного рецепта. В этом смысле Ф.Ницше гораздо последовательнее своего русского «собрата»: он не только не уповает на чисто консервативные механизмы сдерживания, консервирования социальных процессов, а скорее наоборот, стремится ускорить их, довести до логического и социального абсурда. Сам этот абсурд, станет лекарством от самого себя, хотя человечеству и придется испытать немало горьких и мучительных метаморфоз выздоровления в процессе строжайшей переоценки самих высших целей и ценностей, доселе стоящих перед человечеством. При этом движение в сторону обесценивания высших ценностей будет своеобразно ускорено, понятие цели движения и вовсе потеряет смысл. По поводу консервативных моделей сдерживания социального развития сам философ говорит: «нечего делать, надо идти вперед, хочу сказать, шаг за шагом далее в *decadens* (вот мое определение современного «прогресса»). Можно преградить это развитие и тем запрудить самое вырождение, накопить его, сделать его более бурным и внезапным — больше сделать нельзя ничего»¹².

В соответствии с этими представлениями о грядущем социальном развитии Ф.Ницше и разрабатывает, правда, еще весьма эскизно, в виде широких импрессионистических мазков социальную программу пред-

лагаемых им «позитивных мер», которые он называет «великой политикой». «Великая политика» представляет, собственно, его позитивную неоконсервативную политическую философию, оказавшую глубокое воздействие на последующие поколения неоконсерваторов, непосредственно влияющих на формирование тоталитарной концепции «зверя из бездны» — государства неоконсервативного типа. Многие социальные рецепты, только намеченные для грядущего Ф.Ницше, будут с буквальной точностью реализованы в тоталитарных государствах России и Германии, независимо от того, насколько ясно осознавали сами государственные мужи тоталитаризма преемственность и связь их теорий с философией политики Ницше.

Это и были те голоса, «нашептывания», которые своеобразно улавливали лидеры из воздуха, психо-социального поля, окружавшего их. Так например, если К.Н.Леонтьев, анализируя бурные процессы проникновения либеральных идей в общественные институты, только намечал контуры будущего постлиберального общества, которое следует вслед за полным развитием либеральных идей, как общества, так сказать, по контрасту, и уже в нем намечал, предвещал и предрекал, провидел грядущий тоталитарный строй, однако, не давая социальных рецептов для его построения, то Ф.Ницше прямо указывал механизмы грядущего социального структурирования, ведущего к тоталитарной иерархически построенной модели общества. Но впрочем, предоставим слово самому К.Н.Леонтьеву. Вот как он рисует контуры постлиберального тоталитарного государства: «Я позволю себе по крайней мере подозревать такого рода социологическую истину: что тот слишком подвижный строй, который придал всему человечеству эгалитарный и эмансипационный прогресс XIX века, очень непрочен и, несмотря на все временные и благотворные усилия консервативной реакции,

должен привести или ко всеобщей катастрофе или к более медленному, но глубокому перерождению человеческих обществ на совершенно новых и вовсе уж не либеральных, а, напротив того, крайне стеснительных и принудительных началах. Быть может, явится рабство своего рода, рабство в новой форме, вероятно — в виде жесточайшего подчинения лиц мелким и крупным общинам, а общин государству. Будет новый феодализм — феодализм общин, в разнообразные и неравноправные отношения между собой и ко власти общегосударственной поставленных»¹³.

История лишь в дальнейшем подтвердила правильность этого пророчества. Задним числом в этом абрисе будущего социального устройства можно узнать тоталитарное социалистическое общество в его корпоративно-тоталитарной форме. А в момент написания этих прогнозов это было пророчество, предвидение, и не больше. Это осознал и сам К.Леонтьев, чуть ниже писавший: «Я говорю из вежливости, что я подозреваю это; в самом же деле я в этом уверен, я готов пророчествовать это»¹⁴.

Таких пророчеств множество и почти все они сбылись, стали откровением для современников в тот момент, когда они сбывались. И самое, пожалуй, главное в них — это то, что все они как бы заложили общий апокалипсический пафос восприятия нигилистически-либеральных идей, господствовавших в XIX веке. Тем более, что сама конечная цель либерального общества воспринимается мыслителем с позиций церковной ортодоксии как канун, прямое пришествие ожидаемой православием, его эсхатологией, эры антихриста, эры «зверя из бездны». «Когда же всюду, — писал христианский неоконсерватор К.Н.Леонтьев, — заведут самоуправство, республики, демократию, коммунизм, — тогда антихристу откроется простор для действия. Сатане не трудно будет подготавливать голоса в пользу отречения от Христа, как это показал опыт во время

французской революции прошедшего и нынешнего столетия... Вот тогда заведутся всюду такие порядки, благоприятствующие раскрытию антихристианских стремлений, тогда явится и антихрист»¹⁵.

И так как, следуя средневековой логике «истина может порождать ложь» (*modus ponens*) и из «лжи следует что угодно» (*modus tolens*), необходимо отметить, что подобные высказывания, пророчества, помимо их своеобразной «верности», в конце XX века, когда уже многие пророчества сбылись, позволяют вычленить из самих пророчеств те социальные посылы, которые обрели начальную историческую память, дают возможность выяснить, по крайней мере, те из них, которые стали социально-политическими лозунгами в руках эпигонов, развернулись в социально-политическое движение. Так, например, в руках С.Нилуса апокалиптический пафос К.Н.Леонтьева стал своеобразной теорией «всемирного заговора» людей, несущих на себе, по мнению христианской эсхатологии, «печать зверя», которые и являются проводниками ведущих антихристианских тенденций эпохи в форме либерально-демократических, масонских и других организаций, объединений и обществ, напрямую связываемых с их так называемым служением «антихристу».

Почти вся теория так называемого «жидо-масонского заговора», сконцентрированная С.Нилусом в «Протоколах сионских мудрецов», навеяна следующими рассуждениями уже черносотенного православного эсхатолога, мистика-пророка — К.Н.Леонтьева. Опуская многие рассуждения К.Н.Леонтьева о необходимости возрождения и удержания «строгих и стройных ограничений, нового и твердого расслоения общества», приведем лишь конечный вывод из своеобразной эсхатологической части пророчества: «Не надо забывать, что антихрист должен быть еврей, что нигде нет такого множества евреев, как в России, и что до сих пор еще не

замолкли у нас многие даже и русские голоса, желающие смешать с нами евреев посредством убийственной для нас равноправности»¹⁶.

Итак, христианская эсхатология, эта пророческая истина, через писания К.Н.Леонтьева породила своего рода теорию «всемирного заговора», теорию апокалиптической истины, «истины», ставшей провокационной ложью, фальшивкой, в дальнейшем определившей гонения на миллионы людей, в руках уже национал-социалистической идеологии, оправдывавшей геноцид ссылками на псевдоапокрифические «Протоколы сионских мудрецов», ставшей в Германии своего рода откровением, пророчеством, суррогатом теории немецких погромщиков. Она же во многом определила и многие черты большевистского антисемитизма, противопоставленные провозглашаемому официально интернационализму русских социалистов, так же как и во многом определила и без того хорошо «унавоженный» германский антисемитизм, бурно развивавшийся на протяжении почти всего XIX века. Поистине «неисповедимы пути Господни», и пути и судьба идей, возникших в одной стране, когда они обретают самостоятельную жизнь — в другой.

То же самое можно сказать и о политических взглядах позднего Ф.М.Достоевского, изложенных им в «Дневнике писателя». Перевод их на немецкий язык, осуществленный А.Мелером Ван ден Бруком, одним из представителей второго поколения неоконсерваторов, явившийся откровением для неоконсерваторов в Германии, собственно, и определил, наряду с идеями К.Н.Леонтьева, «русское лицо германского неоконсерватизма» 20–30-х годов XX века, их своеобразный пафос, тон и направленность мышления.

Ведь в данном случае не столь важно то обстоятельство, что и «Протоколы сионских мудрецов», и многие другие «апокрифы» впоследствии оказались политичес-

кой провокацией, ненаучной подделкой. Кто, собственно, об этом спрашивал и кто интересовался их реальным происхождением? Скорее важно другое — «тексты» работали, являлись объясняющими, давали «логику происхождения» многих очевидных для всех явлений действительности. «Тексты» были политически активны и в этом смысле — общезначимы и признаны в качестве таковых, а стало быть, обладали навязчивостью пред-рассудка, имели характер чего-то такого, что разумеется, то есть, имеется в разуме само собой, и в этом смысле — почти объективны.

Наивно думать, хотя это и дань признания рационализма как такового, что каждое «мнение», «слух», «версия», предлагаемая массовой пропагандистской литературой, «желтой» или какой-нибудь иной по цвету прессой, подвергается впоследствии рациональной обработке, поиску научных обоснований того или иного мнения. Нет, оно схватывается сразу, непосредственно, не подвергаясь соответствующей рефлексии в качестве единственного и едино существующего объяснения. Человек толпы, массы, сведенной к «атомизированной форме», лишенный корней, традиции, устойчивых социальных связей, человек — песчинка, термит, «перека-ти-поле» легко воспринимает любое объяснение, любой «квазинаучный» миф, легенду, в качестве достаточной, объясняющей и, в этом смысле, общезначимой и необходимой для вторичного объединения во вновь легко создающиеся, легко объединяющиеся группы людей по общности слухов, мнений и предпочтений.

Вовсе не случайно, что стихия, турбулентный хаос этих отдельных «песчинок-атомов», атомизированных индивидов, предполагаемых либеральной теорией в качестве базисной предпосылки самого либерально ориентированного общества, как бы воспроизводящего из-начальную войну «всех против всех», вновь породила в рядах неоконсервативных мыслителей усиленный ин-

терес именно к мифу, преданию, традиции как вне рациональным формам социального отражения действительности, позволяющим вновь «воссоединить» расколовшееся общество, на новом внерациональном осознаваемом основании, на уровне крови, рода, нации и т.д.

Только мифы — эти «могучие иллюзии», по выражению Ж.Сорея, могли вновь интегрировать общество, динамизировать его, сделать политически активным и устремленным к дальнейшему развитию. Так же вовсе не случайно многие идеи и мнения Ж.Сорея весьма сочувственно цитирует такой крупнейший теоретик тоталитарной Германии 20–30-х годов, как К.Шмидт. «То, что ценно в человеческой жизни, — пишет К.Шмидт, — возникает не из разумного рассуждения, но в состоянии войны, у людей, которые будучи воодушевлены великими мифическими образами, участвуют в борьбе...» И далее К.Шмидт прямо цитирует Ж.Сорея: «*Это зависит d'un etat de guerre auquel les hommes acceptent de participer et qui se traduit en mythes precis*» ([G.Sorel] *Reflexions*. P. 319)¹⁷. И политические лидеры становящегося тоталитаризма напрямую обращаются к мифу как орудию, средству сплочения, интеграции нации в борьбе. Так, например, Муссолини, которого цитирует К.Шмидт, в 1922 году в Неаполе перед знаменитым походом на Рим восклицал: «Мы создали миф, миф — это вера, настоящий энтузиазм, ему не нужно быть реальностью, он есть побуждение и надежда, вера и мужество. Наш миф — это нация, великая нация, которую мы хотим сделать конкретной реальностью»¹⁸.

В политике, общественной жизни диссоциированных либерализмом государств происходит своеобразный механизм редукции к основанию, к первичным корням, матрицам, удерживающим само это общество в качестве общности, рода, нации, государства. Но делается это, и в этом заключается самое главное, в отличие от первобытной архаики, только еще собирающейся в

крупные социальные образования из первобытной орды, общины кровных родственников, на ином основании — основании ложно поставленной, но способной объединить всех, цели — цели борьбы за право на существование только одной из противоборствующих сторон, поскольку сам мир предстал расколотым на дуальные оппозиции по образу архаических дихотомий: добра — зла, огня — воды, свой — чужой, мужское — женское и т.д. Мир стал ареной борьбы двух мифических гигантских символических фигур: «Буржуа» и «Пролетариата», которые сошлись в смертельной схватке из-за господства над землей. И это — с одной стороны, тогда как с другой — борьба крови, нации, расы против противостоящих им ценностей либерального типа: свободы, равенства, братства, понятых как интернациональная «свобода» коммерции, экономическое «равенство» всех участников коммерческой сделки и, наконец, «братство» всех по отношению к капиталу, который им довелось персонифицировать.

И в каждой стране, участнице этой всемирной гладиаторской схватки, ведущими являлись только свои специфические дуальные оппозиции, но отражающие, все же, глобальное противостояние «Буржуа» и «Пролетариата». Так, например, в Германии это было «смертельная схватка» в форме борьбы «финансового капитала» — персонифицированная борьбой с его представителями через псевдофобический примитивный антисемитизм и национальное единство арийской германской нации. В России этот же дуализм, помимо борьбы «Пролетариата» с «Буржуа» во внешнем мире, выражался еще в дополнительном противостоянии «Пролетариата», являющегося меньшинством в аграрной отсталой стране, и окружающим его крестьянством. Своеобразным подтверждением этому явились карикатурные образы «кулака», «трутня» и «дармоеда», которым была объявлена беспощадная борьба. К.Шмидт по по-

воду борьбы «Буржуа» и «Пролетариата» в России отмечает: «На русской почве объединились все энергии, которые создали этот образ. Оба, и русский, и пролетарий видели теперь в буржуа воплощение всего того, что, словно смертоносный механизм, стремилось поработить ту жизнь, которой они жили»¹⁹.

В период, наступивший после Первой мировой войны XX века, как в России, так и в Германии были разрушены почти все прежние связи, структуры, формирующие общество, само общество было люмпенизировано, деклассировано и как бы лишено корней, почвы, на которой оно возникло. Наступила пора, которая описывалась либеральной теорией в качестве желанной предпосылки: «атомизированные» индивиды в бесструктурном обществе. Но при этом почти полностью отсутствовала еще одна и, в данном случае, основная предпосылка этой теории — частная собственность, само общество стало избыточным, ненужным, количественно безмерным для государства, утерявшего все свои социальные связи.

Именно в этих условиях неоконсервативные мифы явились своего рода центрами кристаллизации дезинтегрированного общества, но уже не по классовому принципу, а по принципу своего рода отрицательной солидарности (вместе боремся — но против кого?), заново, вновь как бы воссоздающих распавшиеся социальные связи, которые преодолевают не только дезинтеграцию, но и люмпенизацию общества. Вместе с тем, эта мифологизация общества словно «бессознательно путала» тексты — боролась с либерализмом, а нападала на «Буржуа», видя в нем, прежде всего, мещанина, который стремится уютно устроиться в мире, где умерли все прежние аристократически феодальные ценности, вроде привилегий, аристократии, знатности крови и в конце концов венчающую их структуру и иерархию — христианского Бога. Это как бы и был неоконсерватив-

ный акт возмездия либеральной культуре с ее пафосом равенства, единства и братства, но воспринимаемых ею как «гомогенизация», «усреднение», «подобие» «атомизированных» индивидов, лишенных как раз этой традиции, корней, судьбы как предначертания и т.д.

Вот, например, В.В.Розанов — сам неоконсерватор и «охристианенный язычник» — характеризует основной пафос деятельности крупнейшего русского неоконсерватора конца XIX века — К.Н.Леонтьева: «Но какая же, однако, *causa efficiens* лежала для исторического появления Леонтьева? Та, что «средний европеец» и «буржуа» именно в XIX веке, во весь **послереволюционный** пафос европейской истории, выродился во что-то **противное**. Не «буржуа» гадок: но поистине гадок буржуа XIX века»; самодовольный в «прогессе» своем, вонючий завистник всех исторических величий и от этого единственно стремящийся к уравнительному состоянию всех людей в одной одинаковой грязи и одном безнадежном болоте. «Ничего глубже и ничего выше», — сказал мерзопакостный приказчик, стучающий в чахоточную грудь кулачком величиной с грецкий орех: «Ни святых, ни — героев, ни демонов и богов»²⁰. И далее весьма примечательное продолжение, как своего рода вывод: «Практически против таких господ поднялась Германия, как сильный буйвол против выродившихся до собаки волченят; а теоретически Бог послал Леонтьева»²¹.

И как тут после такой оценки пафоса К.Н.Леонтьева В.В.Розановым не вспомнить его германского «alter ego», младшего «конгениального собрата» по неоконсерватизму — Ф.Ницше с его критикой идеального либерального общества, как основного предмета вождений и мечтаний буржуа XIX века, данным им в «Прологе» к «Так говорил Заратустра» почти в те же годы, когда велась и основная проповедь К.Н.Леонтьева в России. Необходимо отметить также, что для Ф.Ницше — это картина «последнего человека» или, как го-

ворил сам мыслитель, «самого презренного человека, который уже не может презирать самого себя»²². «Смотрите, — пишет Ф.Ницше, — я показываю вам последнего человека». «Что такое любовь? Что такое творение? Устремление? Что такое звезда — так вопрошает последний человек и моргает. Земля стала маленькой, и по ней прыгает последний человек, делающий все маленьким. Его род неистребим, как земляная блоха; последний человек живет дольше всех. «Счастье найдено нами», — говорят последние люди, и моргают». И опуская ряд еще замечательных по своему пафосу отрицания особенностей этого «последнего человека», приведем лишь своего рода социальную характеристику либерального рая, данную Ф.Ницше: «Не будет более ни бедных, ни богатых: то и другое слишком хлопотно. И кто захотел бы еще управлять? И кто повиноваться? То и другое слишком хлопотно. Нет пастуха, одно лишь стадо. Каждый желает равенства; все равны: кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом»²³.

И если учесть то обстоятельство, что при жизни ни русский, ни германский мыслители не пересекались и творили как бы в параллельных мирах, то это поразительное по пафосу и силе отрицания сходство только лишь подтверждает наличие в духовной атмосфере России и Германии единых и сильных и, как сказал бы в последствии К.Г.Юнг, синхронистичных духовных течений, противостоящих господствующим либеральным тенденциям, течений, которые в начале XX века по-своему вытеснили затхлый либеральный фон, господствующую духовную атмосферу.

Место рациональной позитивной науки заняли мифы, которые сразу же стали весьма ощутимой политической силой. Антибуржуазные по пафосу, антилиберальные по смыслу — эти мифы стали своеобразным дополнением социалистическим мифам, которые, в противоположность неоконсерваторам, основной упор

сделали на создание столь же мифического противостоящего буржуа — мифу рабочего, грядущей миссии его в дальнейшем развитии будущей истории. В дальнейшем и этот социалистический миф «Рабочего» тоже будет перехвачен германскими неоконсерваторами: Г.Зиммель в своей «Философии денег» создает неоконсервативную, противостоящую марксизму экономико-психологическую теорию, а Э.Юнгер — столь же неоконсервативную символическую теорию — миф рабочего (Arbeiter).

Но совершенно особое место среди неоконсервативных мыслителей Германии по количеству созданных им мифов, по совершенно мифологическому мышлению, во многом определившему тоталитарную мифологию в дальнейшем, занимает О.Шпенглер, который не только попытался объединить оба господствующих, доминирующих мифа времени «Буржуа» и «Рабочего», но и создать действующую модель «прусского социализма», в котором противостояние враждующих политических мифологий не только разрешаются, но в соединении дают новое, качественно иное явления — миф тоталитарно-авторитарного государства, осуществившего синтез неоконсерватизма и социализма.

Если вся жизнь Ф.Ницше — героический заплыв одиночки против господствующего течения времени (не случайно философ заявлял о себе как о последнем «антиполитическом немце»²⁴) как величайший антитезис доминирующим тенденциям политического либерализма и демократии, то в умелых руках О.Шпенглера почти все наследие Ницше поставлено на службу как раз духу времени и стало воплощенным пророчеством для обоснования и формирования тоталитарной модели государственного устройства. Собственно, именно О.Шпенглер и «Архив Ницше», возглавляемый сестрой философа — Е.Ферстер-Ницше, явились «медиаторами-посредниками» национал-социалистичес-

кой версии интерпретирования Ф.Ницше и как теоретика милитаризма и государственника — с одной стороны, национал-расиста и антисемита — с другой. Каждый внес свое, а в итоге получилась «гремучая смесь», которую вряд ли можно соотнести как с самим Ф.Ницше, так и буквально — с идеями национал-социализма.

Взяв у Ф.Ницше идею заката, гибели европейской культуры под натиском либеральной философии и демократических тенденций XIX века, его подход к «генеалогии морали», О.Шпенглер экстраполировал их на все развитие Европы, в том числе — и в будущее, как некий провиденциальный эсхатологический процесс. Но при всем этом словно не заметил или не захотел заметить, поскольку это не укладывалось в его схему развития мировой истории, следующих высказываний Ф.Ницше, по-своему опровергающих всю морфологию О.Шпенглера и, в частности, его исторический прогноз о гибели европейской цивилизации, циклах развития и гибели других существовавших культур. «Что человечество должно выполнить одну общую задачу, — пишет Ф.Ницше, — что оно как целое стремится к какой-нибудь одной цели, — это весьма неясное и произвольное представление еще очень юно. Оно не может считаться целым, это человечество: оно представляет собой тесно переплетающуюся массу восходящих и нисходящих жизненных процессов, — у нас нет юности с последующей зрелостью и, наконец, старостью. Напротив, слои лежат вперемешку и друг над другом, — и через несколько тысячелетий, может быть, будут существовать более юные типы человека, чем те, которые мы можем констатировать теперь. С другой стороны, явления декаданса свойственны всем эпохам: везде есть отбросы и продукты разложения, выделение продуктов упадка и отложения само по себе есть жизненный процесс»²⁵. Учитель оказался прозорливее ученика и как бы «впрок» подготовил аргументы «против» всякого рода

«морфологии культуры», их биологического цикла развития с рождением, расцветом и последующей гибелью, оказался против редуцирования своей философии к политическим нуждам изменившегося времени. И в этом случае Ф.Ницше оказался «несвоевременным философом», из которого не так-то легко сделать практические выводы и политические рекомендации.

Почти так же обстоит дело и с «пресловутым» антисемитизмом Ф.Ницше, который так оценивает сам антисемитизм как явление современной ему эпохи: «Мне напоминают, — пишет Ф.Ницше, — что в наше время существует и нескромный протестантизм — протестантизм придворного проповедника и антисемитских спекулянтов, — но никто еще не утверждал, чтобы какой-нибудь «дух» носился над этими водами...»²⁶. В другом месте: «Даже у антисемитов всегда тот же кунштштюк: осыпать противника отрицательными моральными оценками, сохраняя за собой роль карающей справедливости»²⁷.

И тем не менее, именно за Ф.Ницше с подачи «Архива Ницше», возглавляемого сестрой философа, в свое время бывшей замужем за крупнейшим лидером антисемитизма в Германии конца XIX века, устойчиво упрочилась посмертная слава философа, обосновавшего ксенофобию и антисемитизм. Ведь как определяется истина — истина для толпы, по мнению того же О.Шпенглера: «Что есть истина? Для толпы истина — это то, что приходится читать и слышать постоянно. Пускай где-то там сидит себе, собирая основания, ничтожная горстка, с тем, чтобы установить «истину как таковую», это останется лишь ее истиной. Другая, публичная истина момента, которая лишь и имеет значение в фактическом мире действий и успехов, является сегодня продуктом прессы»²⁸.

И если Ф.Ницше стремился не связывать себя с политикой, «реальной политикой» бисмарковской Германии XIX века, современником которой он был, то

О.Шпенглер прямо заявляет, в отличие от своего предшественника, утверждавшего, что «жизнь — это воля к власти и ничего более», «вся жизнь — это политика в каждой своей импульсивной черточке, до самой глубиннейшей своей сути»²⁹. Отказываясь от метафизики Ф.Ницше, подменяя ее глубину поверхностью политической жизни, О.Шпенглер и само прочтение всей предыдущей философской традиции интерпретирует сугубо политически, через запросы окружающей его современной жизни, требования текущей политической злобы дня. И в качестве своеобразной расплаты за потерю метафизической глубины, теряет само видение истории, перспективное ее интерпретирование, превращается в своего рода социальный заказ все той же политики при любом, даже самом глубинном погружении в толщину ушедших исторических эпох, т.е. становится удобным политическим ангажированным мифом, оправдывающим «из глубины» современную плоскость политической жизни.

Выступая против идолизации государства и политического либерализма, Ф.Ницше писал: «Там, где кончается государство, и начинается человек, не являющийся лишним; там начинается песнь необходимых, мелодия единожды существующая и невозвратимая»³⁰. В другом месте: «Государством называется самое холодное из всех холодных чудовищ. Холодно лжет оно; и эта ложь ползет из уст его: Я государство, емь народ»³¹.

И все это О.Шпенглер переинтерпретировал путем создания своеобразной политической мифологии в учение, песнь о государстве, в котором все, включая сюда и монарха, главу государства, выступают в качестве чиновников-бюрократов, а само государство — это большая бюрократическая контора, где как раз и осуществляется столь язвительно осмеянный Ф.Ницше категорический императив И.Канта, гласящий: «Какая философия дает высшую формулу для государственно-

го чиновника? — Философия Канта: государственный чиновник как вещь в себе, поставленный судьбою над государственным чиновником, как явлением»³².

Итак, государство по О.Шпенглеру — это некая целостность, тотальность, в которой, как считает философ: «...власть принадлежит целому. Отдельные лица ему служат. Целое суверенно. Король только первый слуга своего государства (Фридрих Великий). Каждому отводится предначеченное ему место. Приказывают и повинуются»³³. В качестве тотальной целостности государство у О.Шпенглера поглощает не только отдельную личность, — если вспомнить приведенное выше высказывание о государстве Ф.Ницше, — но и сословия, кровь, нацию расу, и становится над персональной формой, в которой, как в целостности, любое заведомо большое количество частей никогда не больше целого, как форме, удерживающей их в единстве, некоем традиционно-общинном, родовом «Мы». «Не «Я», но «Мы», — пишет философ, поясняя свою концепцию государства, — коллективное чувство, в котором каждое отдельное лицо совершенно растворяется. Дело не в человеческой единице, она должна жертвовать собой целому»³⁴. И вот весьма знаменательные слова философа — неоконсерватора, который, даже создавая на уровне теории концепцию тоталитарно-авторитарного государства, все же как бы проговаривается и выдает свои самые заветные цели, цели-мечты и упования на будущее. «Капиталистическая экономика, — пишет О.Шпенглер, — опротивела всем до отвращения. Возникает надежда на спасение, которое придет откуда-то со стороны, упование, связываемое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности долга. И вот наступает время, когда в глубине снова просыпаются оформленные до последней черты силы крови, которые были вытеснены рационализмом больших городов. Все, что уцелело для будуще-

го от династической традиции, от древней знати, что сохранилось от благородных, возвышающихся над деньгами нравов, все, что достаточно сильно само по себе, чтобы (в согласии со словами Фридриха Великого) быть слугой государства (при том, обладая неограниченной властью) в тяжелой, полной самоотверженности и попечении работе, т.е. все, что я в противоположность капитализму означил как социализм — все это вдруг делается теперь точкой схождения колоссальных жизненных сил. Цезаризм растет на почве демократии, однако его корни глубоко погружаются в основания крови и традиции»³⁵.

Как в дальнейшем сложилась судьба «крови и традиции» самого так называемого «социализма по-прусски» хорошо известно, и это как бы закрытая страница мировой истории³⁶. Но в данном случае важно другое — именно в трудах О.Шпенглера тоталитаризм как форма идеологической идолизации государства как целостности, тотальности, поглощающей, и не только объединяющей, но всецело определяющей саму структуру общественных отношений в государстве, впервые обрела свое выражение. Если Ф.Ницше крайне отрицательно относился к понятию «государство», предпочитая говорить о «формах и образах господства»³⁷, общество для него — это только «культурный комплекс»³⁸, то для О.Шпенглера государство напрямую сливается с народом в некую целостность, которая, собственно, и является силой, движущей историю. «Народ находится в форме как государство»³⁹, — пишет философ. В другом месте: «Поэтому народы как государство и являются в собственном смысле движущими силами всех человеческих событий. В мире как истории выше их нет ничего. Они и есть судьба»⁴⁰, хотя и здесь — вот, пожалуй, самое главное, поглощая в себе сословия, семью, само государство в конечном итоге воплощается в образе «единоличного властителя»⁴¹, который, как опре-

деляет философ: «...внезапно является непосредственно из среды самого же множества и как раз в силу единства чувствования в нем разом делается его главой, находящей здесь безусловное повиновение»⁴².

Итак, лидер государства, его руководитель — это как бы персонифицированный голос народа, сам народ, представленный одним из его членов. Это не «харизматик», не кто-то, кто противостоит народу, государству, что в данном случае — одно и то же. И буржуазный парламентаризм как промежуточная форма, опосредующая отношения между народом и государством, не нужна и лишь только затемняет основное противоречие «великой формы или великой единоличной власти»⁴³. И это основное противоречие современной О.Шпенглеру эпохи, для которой характерен как раз распад, разложение связи народ — руководитель, монарх, наступивший в эпоху «борющихся государств», которую, по мнению философа, как раз и переживает Германия. «Ровно настолько же, — пишет О.Шпенглер, — насколько нации перестают находиться в форме (Verfassung) в политическом отношении, возрастают возможности энергичного частного человека, который желает быть творцом в политике и рвется к власти любой ценой, так что явление такой фигуры может сделаться судьбой целых народов и культур»⁴⁴.

О.Шпенглер называет этот период появлением «великой динамичной формы» — период частной активности человека — «бонапартизмом» или «цезаризмом». Этот период характеризуется распадом, разложением государственной формы, государства, и переходом самого государства, — а государство — это, по определению философа, и есть народ — к первичному хаотическому состоянию, брожению, когда как бы сброшены все традиционные устои, до сих пор скрепляющие общество. «Это возврат из мира завершенных форм, — пишет О.Шпенглер, — к первобытности, к космичес-

ки — внеисторическому. На место исторических эпох снова приходят биологические периоды»⁴⁵. И это с одной стороны — своеобразная дань самого О.Шпенглера «философии жизни», стремящейся объяснить, редуцировать социальные процессы процессами биологическими; с другой — философ не только четко уловил стремление в качестве объективной тенденции своего времени, но и как явление, отражающее внутреннюю логику самого консервативно-традиционалистского мышления — стремление обосновать переход от демократии к диктатуре, отмеченный еще К.Шмиттом при анализе других неоконсервативных политически ориентированных мыслителей⁴⁶. Диктатура как протест против буржуазного парламентаризма, либеральной идеологии, как форма проявления самой стихии жизни, выступающей против либерально-абстрактной бюрократизации жизни, как форма «прямого действия» непосредственной конкретной жизни, выступающей против парламентских, профессионально-корпоративных бюрократических форм государства, армии, полиции и т.д. И это не противоречие в определении, поскольку диктатура чаще всего ассоциируется с диктатурой разума, рационализма, рационалистической схемы, насильно насаждаемой в жизни как некое силовое осуществление мысли в утопии, не считающейся с течением реальной жизни.

К.Шмитт, например, дает другое определение самой диктатуры, весьма сходное с тем, которое предлагал и О.Шпенглер, — вовсе не случайно их влияние на последнее развитие национал-социалистической теории: «Диктатура есть не что иное, — пишет К.Шмитт, — как рожденная рационалистическим духом военно-бюрократически-полицейская машина; напротив, революционное использование силы есть выражение непосредственной жизни, часто дикое и варварское, но никогда не являющееся систематически-жестоким и бесчеловечным»⁴⁷. А вот как описывает этот процесс О.Шпенг-

лер, попутно творя свои мифы, построенные на борьбе духа и денег, демократии и диктатуры: «В образе демократии восторжествовали деньги. Было время, когда политику делали только они, или почти что только они. Однако стоило им разрушить старинные культурные порядки, как из хаоса является новая, все превосходящая, достигающая до первооснов всего становления величина: люди цезаревского покроя ... Силы крови, первобытные побуждения всякой жизни, не сломленная телесная сила снова вступают в права своего прежнего господства. Раса вырывается наружу в чистом и неодолимом виде: побеждает сильнейший, а все прочее — его добыча»⁴⁸.

Вместе с тем, во всей этой феноменологии власти, во всем маскараде мифологических образов — понятий, мифологем, как зародышей, прообразов, «свернутых» в понятие мифов: «крови», расы, денег, демократии, диктатуры, «фаустовской души» — легко прочитывается некая центральная, субстанциональная мифологема, заимствованная философом у Ф.Ницше, и это — мифологема «воли к власти», только намеченная в его философии и развернутая в целые ряды аналогий, гомологии посредством истории и исторических параллелей. Все эти мифологемы «крови», «демократии», «фаустовской души», «цезаризма» и т.д. — ряд, который можно было продолжать и продолжать — экстенсивные величины — все динамичны, все пульсируют и стремятся к постоянному самопреодолению, росту — все метафоры, иные образы метафизической и, в данном случае, онтологической, в рамках этой философии жизни, «воли к власти» Ф.Ницше, выступавшей для О.Шпенглера в качестве своего рода онтологии, на которой он разворачивает свои исторические узоры-иллюстрации основного метафизического принципа. Это как бы форма адаптации, амплификационное прочтение философии Ф.Ницше глазами историка, пророка, мифотворца, творящего

тоталитарные мифы для тоталитарного времени и тоталитарного государства. Все они являются апологией современной философу действительности, но трактуемой и как бы увиденной в свете ницшеанской метафизики.

Все эти «категории-мифы» мифологически противоречивы и легко переходят в свою противоположность. С одной стороны, демократия — это стихия народной жизни, воля большинства и т.д., с другой — это «воля к власти», «нигилистическое движение», ressentiment, с помощью которого утверждается власть слабейших и ничтожнейших «человеческого слишком человеческого» над аристократией, традицией, «кровью» и т.д. С одной стороны, диктатура — это, по определению К.Шмитта и солидарного с ним, не даром же они являются современниками, О.Шпенглера, — стихия, хаос, взламывающий застывшие нормы рационализированного бюрократического порядка, тогда как с другой — это столь насильственное насаждение утопии в текущую живую реальность действительной жизни, насильственное подведение к общему знаменателю, «знаку зверя» всех несогласных с ним путем насилия и тотального террора, контроля над этой самой текущей спонтанной жизнью, «воля к власти» в утверждении нового мирового порядка и т.д.

Грань между тем или иным прочтением той или иной мифологемы зыбка и противоречива, представлена двумя своими сторонами одновременно и принципиально амбивалентна. Та же демократия, следуя в том иррационалистической логике неоконсервативного традиционализма, с одной стороны, порождает тирана, демагога, который обращает ее в свою противоположность — деспотию и тиранию, с другой — средство, с помощью которого большинство заставляет, подчиняет и навязывает свою волю меньшинству. Но при этом все же остается вопрос о том, какие силы приводят в свою очередь механизмы самого большинства. И что такое само по себе это большинство, как социальный слой,

отличающийся от всех прежних реликтовых слоев общества: аристократии, духовенства, буржуа? О.Шпенглер так характеризует его: «Цивилизация застаёт это понятие в готовом виде и уничтожает его понятием четвертого сословия, массы, принципиально отвергающей культуру с ее органическими формами. Это нечто абсолютно бесформенное, с ненавистью преследующее любого рода форму, все различия в ранге, всякое упорядоченное владение, упорядоченное знание. Это новые кочевники мировых столиц, и в их глазах раб и варвар античности, индийский шудра — в общем все, что есть человек, представляется чем-то в равной степени текущим, всецело утратившим корни: оно не признает своего прошлого и не обладает будущим... Масса — это конец, радикальное ничто»⁴⁹.

Феномен, новый для XX века, появившийся сразу после окончания Первой мировой войны, феномен, ставший краеугольным камнем, кирпичиком, из которого, собственно, и будет составлена «крепость» тоталитарного государства, та самая «лагерная пыль», которая в дальнейшем и создает «великие пирамиды» тоталитарного миропорядка не только Германии, но, главным образом, России, включающей «империю Гулаг» в качестве своего рода средства, мобилизующего и проводящего «догоняющее развитие». Появление феномена массы в начале XX века помимо О.Шпенглера было замечено и другими исследователями эпохи. Например, З.Фрейд, анализируя феномен массовой психологии, появившийся в период после Первой мировой войны, т.е., собственно, в те же годы, когда писался и «Закат Европы» О.Шпенглером, весьма сочувственно комментирует мнение французского психолога Ле Бона, который так охарактеризовал само это явление массы: «Следовательно, главные отличительные признаки находящегося в массе индивида таковы: исчезновение сознательной личности, преобладание бессознательной

личности, ориентация мыслей и чувств в одном и том же направлении вследствие внушения и заражения, тенденция к безотлагательному осуществлению внушенных идей. Индивид не является больше самим собой, он стал безвольным автоматом»⁵⁰. И именно этот человек: «безвольный автомат», «последний человек» Ф.Ницше, «полый человек» Т.С.Элиота, «человек массы» Ле Бона и З.Фрейда, деклассированный, лишенный корней и почвы, «человек асфальта» — станет строительным материалом, отмеченным «печатью зверя», нового государства — государства тоталитарного типа. Задача лишь состояла в том, чтобы, создав некую эрзац-идеологию, включающую в себя многие неоконсервативные мифы, «перетереть» в массу, в «лагерную пыль», отмеченную «печатью зверя» население государств, подвергшихся нашествию идеологов, как раз и использующих почти все механизмы, отмеченные Ле-Бonom: иррационализм, внушаемость, безволие, регрессию к сохраняющимся гипобулическим механизмам психики массового человека.

И если либерализм, подобно кислоте, разъедая все связи индивида с почвой, традицией, государством, превращая индивида в существо экономическое, по преимуществу, подготавливал формирование массового человека, то и социализм, и неоконсерватизм в свою очередь заполняли образовавшиеся лакуны своей социальной мифологией, собственно, и ставили «печать зверя» на руку индивида, делая его «кирпичом», «винтиком» в огромной новой мегамашине нового государства, поскольку уже Первая мировая война самих буржуазных государств между собой лишила индивидов основной, основополагающей сущности экономического либерального индивида — частной собственности, сразу поставив его в положение деклассированного люмпенизированного человека массы, человека-«термита», «кочевника», «человека перекати-поле». Вновь же со-

единить разрозненное, разъединенное в условиях тоталитаризма смогла только новая социальная мифология консерватизма и социализма.

Социальные мифы социализма и неоконсерватизма не только по-своему преодолевали люмпенизацию самого буржуазного общества, но и снимали в обществе нестабильность, напряженность, выступая мобилизующими и организующими скрепами, позволяющими как бы заново дифференцировать из аморфной, политически дезинтегрированной массы некое подобие классов, что по-своему решало и весьма актуальную в послевоенной Германии и России проблему избыточности, ненужности, количественной множественности людей. Это не было беспредельное вмешательство в личную жизнь людей, а скорее, обретение индивидами своей сугубо личной, политической, гражданской идентификации, смысловой значимости жизни, восстанавливающей, реконструирующей распавшиеся социальные связи. Мифы неоконсерватизма и социализма, имеющего к тому же статус научного, т.е. общезначимого и необходимого, пользуясь ницшеанской терминологией, переводили, транспонировали пассивный социальный нигилизм в новый активный нигилизм.

Собственно, они сформировали так называемый «фашистский стиль» поведения в Германии и «интернационалистский» — в России: действие без надежды на личный успех, но во имя торжества социальной идеи, ведущей и мобилизующей индивида. Поколения — как заложники грядущего счастья, как краеугольные камни, лежащие в основании социальной пирамиды будущего общества. В рамках этой социальной мифологии появляется свой круг героев и мучеников, для которых сама смерть индивида становится «живым примером» грядущим поколениям, образцом беззаветного служения избранному идеалу. Образы «маленького барабанщика», «Данко» становятся примером для подражания

и повторения подвига, жертвенной смерти, или жизни, принесенной в жертву грядущему. «Кто чувствует иначе, тот добровольно идет в сумасшедший дом»⁵¹ — писал Ф.Ницше, рисуя образ этого «последнего», но в данном случае — тоталитарно чувствующего человека. Оставаясь в сущности своей нигилистическими, теории, отрицающие высшие трансцендентные ценности, присущие другим культурам, тоталитарные теории Германии и России: теории «консервативной революции» и «пролетарского интернационализма», его исторической миссии, сам нигилизм превращают в активистское учение, направленное в будущее.

ГЛАВА 3

ТОТАЛИТАРНЫЙ МИФ И ЕГО ГОРИЗОНТЫ

Пророчества сбываются по мере их реализации. Так же и мифы, тем более, мифы политические. Только в конце XX века история как бы проявила часть мифов, навеянных еще в конце века прошлого и начале нынешнего. Многое сбылось, правда, подчас не в тех формах, о которых говорили пророки, еще больше осталось своеобразными «заготовками» будущего. Так например, К.Н.Леонтьев⁵² дважды ошибся в частности: Константинополь не стал центром православия, грядущим третьим Римом, и революционные катаклизмы произошли не в Париже, а, как ни странно могло показаться в 90-е годы XIX века, в России уже в 1917 году. Но контуры грядущего «феодального социализма», правда, уже выступающего под обликом «авторитарно-тоталитарного» «научного социализма» — большевизма, угаданы им весьма верно, со многими частными подробностями.

К.Н.Леонтьев совершенно верно угадал, предугадал и новый социальный тип, новую антропологическую специфику людей, строителей будущего: «Но уж, во всяком случае, это новая культура, — писал неоконсервативный пророк, — будет очень тяжела для многих и замесят ее люди столь близкого уже XX века никак не на сахаре и розовой воде равномерной свободы и гуманности, а на чем-то ином, даже страшном для непривычных»⁵³.

Точно так же «сбылись» и многие пророчества О.Шпенглера, который, оперируя такими мифологематическими словами, как «кровь», «деньги», «дух», писал: «И если изначально выборы были революцией в легитимных формах, то ныне эта форма исчерпала себя, так что теперь, когда политика денег становится невыносимой, свою судьбу снова «избирают» изначальноными средствами кровавого насилия»⁵⁴. Напомним, что писалось это накануне прихода национал-социалистов к власти и являлось и пророчеством их прихода, и своего рода оправданием. И более того, пророк не всегда удерживается в своем визионерстве, когда предрекает: «Однако тем самым деньги приходят к концу своих успехов и начинается последняя схватка, в которой цивилизация принимает свою завершающую форму: схватка между деньгами и кровью. Появление цезаризма сокрушает диктатуру денег и ее политическое оружие — демократию... Меч удерживает победу над деньгами, воля господствовать снова подчиняет волю к добыче»⁵⁵.

Весь гиератический пафос пророчества, отлитый в лапидарные формы не только не скрывает, но, скорее, делает лозунговой, транспарантной саму политическую сущность высказывания философа — мифолога. Миф как бы разворачивает всю свою синкретически синтетическую форму и, наполняясь политически злободневным содержанием, начинает выступать некоей изначально примордиальной формой, в которой происходит осознание современного политического конфликта. Конфликт поднимается тем самым на высоту, обретает пафос апеллирующей к столь же примордиально вне историческому подсознанию народа, индивида, воспринимающего эти мифы. Тем самым миф вползает в историческую действительность, наполняется ее содержанием и становится актуальным для живущих, переживающих ее индивидов, становится смыслом и значением самой действительности и переживаемого момента истории.

В отличие от «мифов запрета», подобных, скажем, мифу об Эдипе или «мифов сопротивления» — миф о Прометее, политический миф — это всегда «миф-пророчество», сделанный всегда по столь же инвариантной архетипической схеме, как миф о борьбе «добра и зла», с завершающей и окончательной победой положительного начала. Архетипический дуализм борьбы света и тьмы, белого и черного и т.д. не завершается диалектическим переходом, слиянием противоположностей своеобразным «*unio mystica*», а полной победой, вытеснением одной противоположности за счет другой, символически обозначающей как бы окончание процесса и достижение желаемого идеала. Именно поэтому политический миф, «миф-пророчество» всегда апологетически направлен в сторону желаемого идеала и всегда несет в себе явную или неявно выраженную идеологическую нагрузку, которая как смысл и цель мифа отражает, собственно, политическую доминанту любой мифологической истории. Тем самым миф как бы обретает горизонт, перспективу своего прочтения и интерпретирования на социально-политическом уровне, хотя при этом и остаются во всей своей полноте другие аспекты мифа: его литературно-художественные, исторические особенности и т.д. Наиболее яркий пример — социалистический миф о грядущем пришествии коммунизма, который появляется и обретает свою силу как раз в разгар первоначального становления противостоящего ему капитализма и всю предшествующую историю реинтерпретировал как незатухающую борьбу оппозиций, борьбу классов, которая должна, уже в ближайшем будущем, неизбежно завершиться победой одной из сторон оппозиции, несущей как бы завершение долгого исторического процесса и своего рода конец истории, как истории борьбы и противостояния.

В качестве инвариантной схемы миф о грядущей победе коммунизма несет в себе все ту же уже известную христианскую модель мифа об искуплении, избавле-

нии и грядущем спасении всего человечества путем своего рода искупительной жертвы — пролетариата, который ради спасения человечества приносит себя в жертву грядущего социального счастья — коммунизма. При этом сама социалистическая мифология носит циклический характер: начинаясь с первобытно общинного коммунизма — первичной и примордиальной фазы — мифология завершается через цикл метаморфоз и перипетий уже научно обоснованным и неизбежно приходящим коммунизмом, задающим цель и смысл историческому движению человечества в потоке и процессе его онтологического существования. Процесс движения общества от одной фазы своего развития к другой в научном коммунизме, в отличие от коммунизма утопического, обеспечивается не рабством, лежащим в основании социальной пирамиды, но «техникой», новым фактором, который привнес в социалистическую мифологию XIX век.

Вместе с тем, фактор техники неоднозначно был воспринят в обоих тоталитарных режимах: Германии и России. В более отсталой в промышленном отношении России техника, бурный ее расцвет и развитие, наряду с дешевым «рабским» трудом политзаключенных империи «ГУЛАГ», стала весьма существенным фактором «догоняющего» развития. Под неусыпным контролем партии усиленно развивалась и «пролетарская» наука. Хотя при этом следует отметить, что развитие и «техники», и «науки», помимо того, что они являлись фактором «догоняющего развития» еще и носили явный мобилизационный характер, были направлены, в основном, в сторону милитаризации самой экономики и почти не сказывались на благосостоянии, «качестве жизни» населения тоталитарного государства. Неизменным оставался предельно дешевый «рабский» труд как фактор экономического развития, природные ресурсы, импортируемые за рубеж и огромная интенсификация простого «мускульного» труда, доведенная до рекордных высот, вроде «стахановского движения».

Движение вперед, к прогрессу социалистического, а затем и коммунистического общества, обещанного в будущем, обеспечивалось не за счет открытий науки и опережающего развития техники и новых технологий, а скорее за счет количественного «человеческого» фактора, за счет избыточной массы постоянно возобновляемого, люмпенизированного пролетариата, рекрутируемого из разоренной и униженной крестьянской части населения. Научные центры превратились в «шарашки», руководимые органами государственной безопасности, производственные коллективы — в промышленные трудовые зоны, предельно милитаризованные по продукции, выпускаемой этими производствами. Сельское население, потеряв паспорта и тем самым право на гражданство, право на перемещение, право на землю, на собственность, было объединено в разновидность военных мобилизационных поселений — колхозов и совхозов, работа в которых, при всей ее интенсивности, оценивалась в весьма условных единицах — трудоднях, строго фиксированных по качеству и количеству труда. Партия поглотила в себе общество, идеологизировав его, сделала своеобразным инструментом политики государства. Прежний атомизированный, скептический человек либеральной идеологии был насильственно заменен на нового человека — человека тоталитарного общества: человека подчинения, веры в вождя, партию, государство.

В отличие от левого тоталитаризма социалистической идеологии, правый тоталитаризм национал-социализма, фашизма Германии и Италии основывался на иных принципах, отличных социо-культурных традициях буржуазно-парламентарной культуры, сохранившей многие феодально-аристократические традиции и предрассудки. И фашизм в Италии, и национал-социализм в Германии, в отличие от тоталитарного социализма в России, были своеобразным альянсом, соеди-

нением социалистической идеологии с консервативной правящей элитой. И тем не менее, и это, пожалуй, самое главное, и правый, и левый тоталитаризм, тоталитаризм России, Германии и Италии сходны, при всех частных отличиях, в главном — в отрицании политической демократии, буржуазного парламентаризма, любой оппозиции, манихействе идеологии (кто не с нами, тот против нас; черно-белый спектр восприятия действительности), в полном подчинении индивида государству, партии, вождю, в зоологическом антисемитизме, т.е. ксенофобии, доведенной до уровня основного императива внешней и внутренней политики.

Являясь по духу, происхождению, традиции представителями буржуа, буржуазной культуры, лидеры правого тоталитаризма: фашисты и национал-социалисты Италии и Германии — панически, судорожно боялись коммунистов, стоящих во главе пролетариата, грозящего революционными потрясениями. А так как, в основном, лидеры коммунистического движения как в России, так и в Европе, в частности, в Германии и Италии являлись выходцами из еврейского гетто, были евреями, то и само движение коммунистического интернационала явилось национально окрашенным, породившим впоследствии теорию «сионистского заговора», легко усвоенную в рамках откровения «Протокола сионских мудрецов», возникшего под пером русских антисемитов еще в начале XX века. Это была прямая апелляция к основным рудиментарным инстинктам обывателя: ненависти, зависти, мести, — возведенных в ранг политической теории и ставших тем самым, так же как и в левом тоталитаризме с их тезисом о классовой борьбе, фактором, определившим социальную динамику самого тоталитарного общества.

Что касается фактора науки и техники, правый тоталитаризм так же подверг их идеологической чистке, только в отличие от классового критерия, основным

критерием стал фактор расовый, определяющий пригодность того или иного направления науки и техники по принципу крови, расы, нации. Взамен вытесненной за пределы Германии научной субкультуры ученых еврейской национальности весьма активно расплодились специалисты по «нордической», «арийской» философии и культуре. Духовный вакуум заполнили мистические культы и союзы, ордена, исследующие мифические корни арийских предков, выступившие с тезисом о «бунте крови и жизни» против плоской неарийской рассудочности и критического рационализма предшествующей буржуазной культуры, жизни против мышления. Выступая с позиций широко понятой стихии жизни против узко понятого рационализма как правый, так и левый тоталитаризм практически широко распахнул двери иррационалистическим направлениям философии, психологии, «паранауки» вроде «философии жизни», «глубинной психологии» и «астрологии» — направлениям, вплотную сливающимся с мифологией, оккультизмом и мистикой.

В России аналогом «философии жизни», ее своеобразным вариантом явилась так называемая «диалектика», трактующая о мистическом совпадении противоположностей, находящихся в борьбе; «диалектическая логика», говорящая о совпадении противоречий, их взаимопереходе; аналогом «глубинной психологии» стал экономический редукционизм, усматривающий во всей полноте психической жизни только лишь экономический фактор; тогда как «астрологию» как науку взаимозависимости индивида от космоса заменил «исторический материализм», трактующий индивида в качестве «винтика», «песчинки», сливающейся в своем движении с массой, коллективом и в этом, и только в этом смысле участвующей в мировой истории: пылинки, сгорающей в сиянии рукотворного космоса тоталитарного государства. Только «пролетарская наука» — марксизм-ленинизм, марксистская диалектика могла позволить

расцвет классовой биологической науки — «лысенковщины», надолго отбросившей некогда ведущую российскую генетику; только марксизм-ленинизм, как «единственно верное», а потому «всесильное» учение могло позволить себе выведение новой антропологической сущности — «советский человек», «homo sovieticus», как разновидность все той же буржуазной евгеники; только марксизм-ленинизм мог, отрицая расовые и национальные отличия, заявить о создании новой всечеловеческой, бесклассовой общности — советский народ.

Отдельно следует оговорить и значение такого сравнительно нового механизма социальной политики XX века как партии, партии массового общества, впервые заявившие о себе как о структуре власти, которая может поглотить и само общество, и государство, и его властный аппарат. Являясь формой организации массового общества XX века, партия представляет собой властную структуру, которая не только и не столько объединяет индивидов по политическим и духовным интересам и ориентациям, но прежде всего как бы «замещает», вытесняет существовавшие прежде механизмы воздействия государства и государственной власти в их примитивной форме прямого насилия на широкие социально-политические, идеологические, организационные формы включения индивида в упорядоченное движение коллектива, включение его воли в коллективную волю индивидов — массу. Тем самым партия и осуществляет, собственно, саму политическую власть, политику того или иного тоталитарного государства. Не партии в государстве, представляющие парламентарным путем весь спектр мнений и политических пристрастий в обществе, но «Партия» как «Государство», охватывающее индивида с момента его появления на социальном поле в качестве гражданина, до момента прекращения его социально значимой активности. Такое понимание партии — явление, сугубо связанное с тоталитарными

режимами XX века, в корне порывающее с прежними представлениями о партии, как клубе по интересам, пристрастиям, традиции, — демократической в своей основе, допускающей широкий плюрализм пристрастий и вкусов, возможность высказывания мнений.

Тоталитарная партия — партия тоталитарного типа — ничего общего не имеет ни с демократией, ни с либеральной свободой мнений. Это по-своему четко дифференцированная структура, подобная средневековому ордену иезуитов, «ордену меченосцев» с жесткой регламентацией, иерархией и уровнями подчинения и соподчинения, с казарменной дисциплиной для ее членов. Так называемый принцип демократического централизма, только по названию «демократический», на практике — эффективное средство, механизм давления «большинства» членов партии на так называемое «меньшинство», суровый аппарат для борьбы с еретическим отступничеством и инакомыслием. Зубчатые колеса партийной дисциплины, «демократического централизма», активно перемалывают любое субъективное мнение в «лагерную пыль» партийной дисциплины и единомыслия, единодушия.

Вместо множества центров политических сил, политических властей, конкурирующих, соперничающих между собой и в качестве результирующей — имеющих некую, не всегда четко выраженную внешнюю и внутреннюю политику, появляется единый, эксцентрированный по отношению ко всем им, центр политической власти, который диктует, не являясь строго государственным, свою волю и государству, и обществу, и каждому индивиду. Собственно, это и есть тоталитаризм, когда воля всех и каждого подчиняется воле одного, который не только олицетворяет эту коллективную волю, но авторитарно диктует всему и вся путь и направление не только социального развития, но частной, личной жизни, и в этом смысле «тотально», цело-

стно охватывает все общество, государство и все общественные институты. Сама динамическая ткань власти, ее силовое поле, если можно так выразиться, его поляризация отражает волю политического лидера, вождя, в нем концентрируется и от него исходит и охватывает в форме некоей целостности в форме некоей целостности все общество. Отсутствие всякой личной, «приватной», частной жизни индивида, включенность его в это целое структурированное по отношению к центральной, централизованной воле ее политического лидера, делает все общество подобным коралловому рифу, железным опилкам, концентрическими кругами собирающимися вокруг магнита, мифологическому «вселенскому человеку» древних индусов, руки которого — это воины, ноги — торговцы и ремесленники, а голова — жрецы и идеологи. Древний мир, казалось, ожил и обрел свою плоть и кровь и называться он стал концепцией тоталитарно-авторитарного общества, в котором внутренняя структура, скрепы общества вышли наружу и, охватив собой общество системой карательных репрессивных органов, насильно удерживало само это общество от деградации и распада, разложения. Общество, как бы созданное с прицелом на вечность, существует только до тех пор, пока эти насильственные узы, наложенные на него, способны сдерживать само развитие, рост и саморазвитие общества. Прозрение же, осознание самих сдерживающих уз, наступающее в процессе развития, делает существование этого общества не только морально, но и физически невозможным.

Собственно, это и есть предвосхищенный еще К.Н.Леонтьевым «...деспотизм внутренней идеи, не дающий материи разбегаться»⁵⁶, но только деспотизм, доведенный до своего рода абсурда, пронизывающий все поры, ячейки социального организма — общества. Это новый, присущий только XX веку вид абсолютизма, который в отличие, скажем, от абсолютизма XVIII века,

утверждавшего максимум политической власти: «рассуждайте, но повинуйтесь», накладывает свою политическую волю, свои шупальца власти и на мысли, чувства и помыслы людей и жестоко, при помощи репрессивного аппарата, подавляет, карает любое проявление несогласия, инакомыслие, как форму, подлежащую столь же бескомпромиссному уничтожению.

В тоталитарном государстве вновь оживает механизм древнего государства, описанный Ф.Ницше в «Генеалогии морали». Рисуя модель создания древнего государства и явно предвосхищая образ будущего тоталитарного государства, Ф.Ницше так описывал структуру «одухотворения жестокостью», лежащую в его основании: «Во первых,.. названное изменение не было ни постепенным, ни добровольным и представляло собою не органическое вращение в новые условия, но разрыв, прыжок, принуждение, неотвратимый рок, против которого невозможной оказывалась всякая борьба и даже ressentiment. Во-вторых же, то, что вгонка необузданного доселе и безликого населения в жесткую форму не только началась с акта насилия, но и доводилась до конца путем сплошных насильственных актов, — что сообразно этому древнейшее «государство» представляло и функционировало в виде страшной тирании, некоего раздавливающего и беспощадного машинного устройства, покуда наконец сырье, состоящее из народа и полуживотных, оказывалось не только размятым и тягучим, но и сформованным»⁵⁷.

И если в древнее время механизмы, описанные Ф.Ницше, «по формованию» граждан государства были во многом бессознательными, то в XX веке это уже был вполне осознаваемый и рационально проводимый процесс, использующий все достижения европейской цивилизации, все открытия в области радио, кино, печатной продукции. Именно неоконсерватизм, реанимируя многие древние рецепты «одухотворения жестокостью»,

перемалывания индивида в новую социалистическую или национал-социалистическую личность, новое общество «советский» или «немецкий» народ, налагал своеобразное клеймо: «печать зверя», так отличающую представителей тоталитарного государства с их предельно фанатичным конформизмом, слепой верой в социальные идеалы, поставленные этим обществом, зашоренностью и своеобразным (черно-белым) способом восприятия действительности. Но вместе с тем, весьма существенным отличием в этой социализации индивида в тоталитарном государстве, в корне отличающем его от утопических проектов древних, было стремление не только «сформовать» индивида «нового» общества, но и сделать его, в целях стабильности, спокойствия, вечности самого этого общества не только и не столько «рабом» предлагаемых обстоятельств, как это было у древних, но «рабом», не только любящим свое рабство, но и жертвенно, самозабвенно стремящимся сохранить условия, создающие само это рабство: проблема, которую успешно разрабатывали не только политические лидеры тоталитарных государств, но и о которой активно предупреждали авторы романов-антиутопий. Это и Е.Замятин с его знаменитым романом-антиутопией «Мы», и О.Хаксли, создавший свой вариант романа — предупреждения как раз накануне прихода нацистов в Германии к власти, названный им «О дивный новый мир».

Стремление партий тоталитарного типа к поглощению государства, общества, личности несет в себе и как бы свое собственное отрицание — партия перестает выполнять функцию клуба единомышленников, поскольку все по определению либо единомышленники, либо не мыслят, перестают мыслить вообще, подлежат аннигиляции, уничтожению. Партия уже не часть общества и государства, а скорее некое условное обозначение, метка об идеологической чистоте и сопричастности конкретного индивида движению, только «по

старинке» называющая себя «партия». Но это так же означает конец демократии как формы управления и взаимоотношений между индивидами, конец индивида как некоей выделенной, обособленной личности, конец всякой творческой, одаренной индивидуальности и т.д.

Именно об этом писал, предвосхищая будущее развитие, О.Шпенглер: «Однако форма правящего меньшинства непрерывно развивается дальше — от сословия через партию к свите одиночки. Поэтому конец демократии и ее переход к цезаризму выражается в том, что исчезает вовсе даже не партия третьего сословия, не либерализм, но партия как форма вообще. Умонастроение, популярные цели, абстрактные идеалы всякой подлинной партийной политики уходят, и на их место заступает частная политика, ничем не скованная воля к власти немногих людей расы»⁵⁸. Тем самым появляется господство немногих, либо одного человека — диктатура, феномен которой был еще задолго до О.Шпенглера описан Ф.Ницше, только у него он носит название не «одиночки», но «тирана»: «...когда «падают нравы», начинают всплывать существа, которых называют тиранами: они суть предтечи и как бы преждевременно созревшие первенцы индивидуумов. Еще немного времени и этот плод плодов висит уже зрелый и желтый на народном дереве — а только ради этих плодов и существовало то дерево. Когда упадок и равным образом усобицы между разного рода тиранами достигают своей вершины, тогда непременно приходит цезарь, тиран, подводящий итоги, который кладет конец утомительной борьбе за единодержавие, вынуждая саму утомленность работать на себя»⁵⁹. Но это так сказать, идеальная схема, мыслительный проект, как это может происходить и как могло бы происходить в действительности, но и в самом деле, как это не парадоксально на первый взгляд, на практике все почти так, с минимальными отклонениями от нарисованной схемы, и происходило.

И в России в результате Октябрьской революции 1917 года, и в Германии во время ноябрьской революции 1918 года к власти пришли новые, в прошлом весьма далекие от политики, социальные слои политических деятелей, которые своеобразно заполнили вакуум власти, сложившийся в обеих странах. Именно они предложили свой вариант решения кризисных явлений в области государства и государственной власти, по-своему и как бы попутно решив и проблемы инфляции, остро стоящие в обеих странах. Как известно, процесс инфляции не уничтожает материальные ценности, как таковые, но заново организует и перераспределяет их в процессе мобилизации общества, решающего проблему «догоняющего развития», ставящего «новые цели».

Являясь порождением духовной, социально-политической катастрофы, разразившейся в странах Европы после Первой мировой войны, эти «новые» политические лидеры и всю дальнейшую историю рассматривали как теорию катастроф и всемирно-исторических заговоров, сама эсхатология будущего виделась как перманентное разворачивание серии революционных катаклизмов, революционных потрясений, в результате которых осуществится господство как национал-социалистического движения, так и мировой пролетарской революции. Этот взгляд на историю, как историю заговоров и катастроф, опрокинутый в прошлое, и само прошлое представляет своеобразной ареной борьбы добра и зла, ареной, на которой имманентно действуют мифические силы, осуществляющие некоторый неписанный, но заложенный в «крови», в предании, традиции социальный проект, в котором сами действующие лица конкретной истории являются лишь исполнителями некоей социально-исторической телеологии, некоего извечного противостояния, заговора, кодированного кровью, религией, ритуалом, всем бытом и способом жизни той или иной этнической, национальной структуры.

Вовсе не случайно и то, что при подобном подходе к истории в тоталитарных странах возрождаются весьма интенсивные квазинаучные разработки древней мифологии народов, самого архаичного мифа, ставшего в этих условиях как бы действующей мифологической идеологемой, определяющей политическую и социальную расстановку сил, их социальную активность в истории. Именно отсюда появляются разработки «Мифа XX века» А.Розенберга в Германии, в России сходными проблемами в начале XX века занимался крупнейший специалист в области античной культуры, ее философии и мифологии А.Ф.Лосев.

В отличии, скажем, от Ф.Ф.Зелинского, В.Иванова или даже Я.Э.Голосовкера — тоже исследующих античность, ее мифологию, эхо мифа в европейской культурной традиции, — А.Ф.Лосев в своих штудиях по античной мифологии задает ее как бы «идеологическую» интерпретацию, по-своему развивающую столь же «идеологическое», точнее — теологически-эсхатологическое прочтение мировой истории, заявленное до него еще в трудах К.Н.Леонтьева, В.В.Розанова, С.Нилуса — крупнейших неоконсерваторов — апокалиптиков, мистиков и пророков конца XIX века в России. Именно этим, и только этим «обстоятельством» можно, по крайней мере, объяснить то своеобразное «путанье текстов» А.Ф.Лосева по теории мифа, поскольку так и кажется, что читаешь избранные места из «Протоколов сионских мудрецов» С.Нилуса, отдельные мотивы из «Обонятельного отношения евреев к крови» В.В.Розанова или уж, на крайний случай — перепевы «Дневника писателя за 1877» Ф.М.Достоевского, в которых бытовой антисемитизм и ксенофобия возведены на уровень метафизический и теологический, а православие в его наиболее крайних формах — основной и определяющий, дифференцирующий принцип всей мировой истории. Эсхатологическая апокалиптика, ожидание прихода «анти-

христа», предшествующее «свершению времен» христианской эсхатологии, мистические пророчества Серафима Саровского, так повлиявшие на С.Нилуса, и в случае А.Ф.Лосева находят идеологическую интерпретацию мировой истории, ее господствующих детерминант в XIX веке. А.Ф.Лосев на этом этапе своего развития мог бы сказать словами С.Нилуса: «А затем перед моими духовными очами, просветленными учением Церкви и ее святых, стали открываться картины прошедшего, настоящего и даже будущего в такой яркости, в такой силе освящения внутреннего смысла и значения мировых событий, что перед яркостью их потускнела и померкла вся мудрость века сего, ясно открывшаяся мне, как борьба против Бога, как апокалиптическая брань на Него и на святых Его»⁶⁰. Так вот, А.Ф.Лосев в своих «дополнениях» к «Диалектике мифа», подготовленных в 1930 году, пишет: «Силой, открыто выступившей с целью свержения Бога с принадлежащего ему места и разрушившей божественные устои феодализма, была извечно враждебная христианскому Богу сила сатаны, воплотившаяся в иудейство. Эпохой Возрождения кончается торжество христианства и начинается историческое воплощение Израиля... Еврейство со всеми своими диалектико-историческими последствиями есть сатанизм, оплот мирового сатанизма... триада либерализма, социализма и анархизма предстает перед нами как таинственные судьбы кабалистической идеи и как постепенное нарастающее торжество Израиля. Большинство либералов, социалистов и анархистов даже совсем не знают и не догадываются, чью волю они творят»⁶¹.

Нечто подобное, но уже в Германии в 1913 году писал и В.Зомбарт в своем социологическом этюде «Буржуа», и об этом писала почти вся черносотенная пресса после «дела Бейлиса» в 1914 году. Все проблемы мировой истории, все ее загадки и парадоксы разрешились

удивительно просто и в форме, достойной понятия «политического» К.Шмитта: в терминах архаического, древнейшего, и в этом смысле — первичного мифа борьбы света и тьмы, и нарастающего «свершения времен», предсказанного в апокалипсисе. Враги ясны, и они придают тонус, динамизм самой мировой эсхатологии, описанной в апокалипсисе как приближение царства «Зверя из бездны». Древнейший миф, лежащий в основании подобных метафизико-теологических, эсхатологически-мессианистских рассуждений как бы заместил собой всю двухтысячелетнюю европейскую культурную традицию и стал определяющим «научным» признаком, дифференцирующим саму культуру конца XIX — начала XX века.

Древний архаический миф стал объяснительной гипотезой мировой истории, ее телеологии и эсхатологии, формой перспективного видения не только прошлого, но и будущего социального развития. И это весьма типичные явления для культурной атмосферы XIX—XX века. Не случайно и то, что и первый документ, провозгласивший наступление новой эпохи — «Манифест коммунистической партии», написанный в середине XIX века столь же мифологичен, столь же архаичен по основной расстановке действующих сил в истории, столь же эсхатологически нацелен на своеобразное «свершение времен» — коммунистический рай, ожидающий прозелитов этого учения в конце исторического развития. Различие между коммунистической и религиозной утопией в этом смысле несущественно: различие в методах достижения цели, в месте и времени достижения утопического ожидаемого рая. Но именно это различие, собственно, и определяет границы и перспективы самого социального мифа, его политическую и эсхатологическую направленность: здесь, на этой земле, но в отдаленной перспективе времени, либо где-то там, в запредельной «по ту сторону жизни и смерти» райской глубине.

Являясь консервативными по своей сути, эти утопические проекты эсхатологически ожидаемого рая несут в себе порочную червоточинку, присущую изначально консерватизму вообще. Суть этой «червоточинки» хорошо описал в свое время Ф.Ницше, который сам, являясь по всем своим основным интенциям консерватором, все же писал: «Когда во Франции начали оспаривать, а стало быть и защищать Аристотелевы единства, можно было вновь заметить то, что как часто бросается в глаза и что, однако, видят столь неохотно: **налагали себе основания**, ради которых эти законы должны были существовать, просто чтобы не признаться себе, что привыкли к их господству и не желают ничего другого... Здесь коренится великая бесчестность консерваторов всех времен: они суть привиратели (Hinzu-Lügner)»⁶².

И если Ф.Ницше в данном случае говорит о «философии» и ее «законах», то сам стиль мышления, отмеченный им для философии, можно с успехом перенести и на мифологию, и в частности на политическую мифологию, в которой тоже апеллируют к основаниям, призывают к первичному, аутохтонному, но тем не менее, сознательно, либо бессознательно закрывают глаза на логичность самих этих базисных первичных аутохтонных оснований. Это касается как политической мифологии социализма, так и национал-социалистической. И там, и там словно не замечают, или не хотят замечать, ложности первичных посылок мифологии, вроде «исторической миссии пролетариата», «чистоты арийской расы», самой расовой души и логики ее происхождения.

И, собственно, суть тоталитаризма, который возникает в обеих странах, удивительно проста: это своего рода «вербовка» миллионов граждан, проживающих в этих странах примитивными мифологиями. И возврат к «первоистокам», который своеобразно провозглашают как социализм, так и национал-социализм — это возврат к тому, что было как бы заключено в «первоис-

тока», в том числе, и к тому, что было нафантазировано, придумано современниками по поводу самих этих «первоистоков», т.е. к тому, что было во многом ошибочно, мифологично, к тому, что хотелось бы увидеть, но чего не было на самом деле. И если критерием истины, согласно марксистской идеологии, выступает практика, то тогда все предшествовавшие «практики» (северно-корейского, кубинского, кампучийского и т.д. образца) социализмов — это не неполноценность самих этих версий, моделей социализма, а ошибка исходной, первоначальной истины, самих «первоистоков». Искреннее желание, стремление увидеть в прошлом то, что хотелось бы «воскресить» в настоящем или, по крайней мере, в будущем, во многом определило и неправильное восприятие самого «настоящего», в котором создавались мифические проекты переустройства будущего.

Не случайно К.Маркс и другие утописты середины XIX века, в том числе и неоконсерваторы, приняли «родовые муки» становящегося капитализма за его агонию, а собственные теории — как форму, отрицающую исходные предпосылки самого капитализма как способа ведения товарного хозяйства. Не случайно, что и сам социализм В.И.Ленин определяет как строй, состоящий «в уничтожении товарного хозяйства»⁶³, национально-нигилизма, отрицающего отечество у рабочих, у пролетариата, отмирающего государства в виде диктатуры, деспотии «ЦеКа-кратии», отрицающего либеральные свободы в виде почти семидесятилетнего монопартизма. Не случайно также и то, что социальные барьеры в обществе восторжествовавшего социализма были гораздо выше, чем прежде, переходы в элитные группы общества почти что непреходимы, а сама социальная иерархия — похлеще феодальной, и общество наиболее закрыто. Действительный, реальный, существовавший социализм стал не реальным уничтожением классов, но в условиях усугубляющейся стратификации общества, уве-

личения групп, прослоек, численности, роста и усиления роли интеллигенции, поляризации ее, т.е. своеобразного обуржуазивания, выявил полную неспособность приспособления к изменяющейся действительности, стал тормозом самого «догоняющего развития».

Более того, марксизм как теоретическая исходная философская база социализма и социалистического строительства претерпевает упадок там и тогда, где и когда поднимается жизненный уровень и осуществляется экономический рост. Казарменная практика социализма доказала лишь то, что революционеры, строящие социализм, не были пролетариатом и не знали его действительных нужд, тогда как пролетарии вовсе не заинтересованы в революции, ставящей их вновь на грань физического уничтожения в социалистических тюрьмах ГУЛАГа. Столь же закономерно, и почти повсюду становилось «практикой» социалистического ведения хозяйства то, что «террор» становился единственной мобилизующей силой, обеспечивающей прирост экономического развития. «И так как он уже не может рассчитывать, — пишет Ф.Ницше по поводу социализма, — на старое религиозное благоговение перед государством, а напротив, произвольно должен содействовать его устранению — потому, что он стремится к устранению всех существующих государств, — то ему остается надеяться лишь на краткое и случайное существование с помощью самого крайнего терроризма. Поэтому он втайне подготавливается к террористической власти и вбивает в голову полуобразованных масс, как гвоздь, слово «справедливость», чтобы совершенно лишит их разума ... и внушить им добрую совесть той злой игры, которую они должны разыграть»⁶⁴.

Собственно, и сам террор, как средство внедрения социальной мифологии, вовсе не прерогатива тоталитаризма и уходит корнями в далекое прошлое европейской культуры. Вовсе не случайно Ф.Ницше прямо свя-

зывает его с социалистической культурой, тенденцией, но относит ее к временам Платона («старый типичный социалист Платон») ⁶⁵. А такой крупнейший критик тоталитаризма XX века, как К.Поппер, видит в нем возрождение архаического племенного духа, кодификатором которого, собственно, и явился древнегреческий философ. Почти весь первый том, посвященный анализу тоталитаризма, в том числе, и современного тоталитаризма К.Поппер посвящает «чарам Платона», приходя к следующему заключению: «Платон чувствовал, что программу Старого олигарха (речь идет о попытках Крития уничтожить демократию древних Афин после Пелопонесской войны — *А.М.*) нельзя возродить, не основав ее на другой вере — на убеждении, которое вновь утвердило бы старые ценности племенного строя, противопоставив их вере открытого общества» ⁶⁶.

И если известно, что крайности сходятся, хотя и чрезвычайно редко, то подобное совпадение крайне отрицательных оценок философии Платона — Ф.Ницше и К.Поппером говорит о многом. Ф.Ницше критикует Платона за скрытый деспотизм социалистического толка, К.Поппер — за возрождение, рационализацию, кодификацию старого племенного родового духа, короче говоря, за тоталитаризм. И оба они с различных сторон ухватывают коллективистскую, родоплеменную подоснову философии Платона, которую Ф.Ницше в конце XIX века стремится заменить на свой инвертированный платонизм современных физикалистски оформленных мифов о «сверхчеловеке», «воли к власти» и «вечного возвращения того же самого», а К.Поппер полностью отбрасывает как противоречащие целям либерально ориентированного «открытого общества». Ф.Ницше заново переосмысляет, переинтерпретирует, физикализирует старые мифы; К.Поппер, отдавая дань уважения историко-философской традиции, не случайно

и самого яркого критика современности — Ф.Ницше, относит к философам, обосновывающим на современном языке все тот же архаический тоталитаризм⁶⁷.

Оставаясь в русле либеральной рационалистически ориентированной философии, К.Поппер четко фиксирует неоконсервативные тоталитаристские тенденции в философии Ф.Ницше, при всем ее критическом пафосе. Политический смысл философских мифологем Ф.Ницше весьма прозрачен — это новая физикализированная версия старой и потому хорошо забытой, ставшей как бы бессознательной архаической мифологии, будь то физикализированный, но непроверяемый научными средствами, миф о «вечном возвращении того же самого», миф о «воле к власти» или миф о «сверхчеловеке. К.Поппер отмечает весьма существенную особенность современной политически активной философии, а философия Ф.Ницше именно к таким и относится, и своеобразно подтверждает как бы с другой стороны вывод, сделанный крупнейшим специалистом, но уже в области мифологии — К.Леви-Строссом, который отмечал: «Ничто не напоминает так мифологию, как политическая идеология. Быть может в нашем современном обществе последняя просто заменила первую»⁶⁸. Эти же аспекты политической идеологии отмечает и другой специалист в области мифологии — М.Элиаде, который, говоря о мифах нового времени и, в частности, мифологиях, лежащих в основе тоталитарных режимов XX века, пишет о национал-социалистическом культе возвращения к арийским истокам: «Страсть к благородному происхождению объясняет так же периодическое «возвращение» к расистскому мифу об «арийцах», особенно в Германии ... «ариец» является одновременно и самым дальним, «первоначальным» предком и благородным «героем», исполненным всех достоинств и идеалов, к которым стремились все те, кто не мог примириться с ценностями, утвердившимися в обществе в результате революции 1789 и 1848 годов»⁶⁹.

Сходные мифологические мотивы М.Элиаде усматривает и в другой тоталитарной идеологии — в социализме и, в частности, в тех его «научных» формах, которые, как называет их мифолог, носят название «марксистского коммунизма»: «Что касается марксистского коммунизма, то его эсхатологические и милленаристские построения были выявлены уже не раз, — пишет М.Элиаде, — Мы уже раньше отметили, что Маркс воспользовался одним из самых известных эсхатологических мифов средиземноморско-азиатского мира — мифом о справедливом герое-искупителе (а в наше время — это пролетариат), страдания которого призваны изменить онтологический статус мира. И действительно, марксово бесклассовое общество и, как следствие этого, исчезновение исторической напряженности — не что иное, как миф о Золотом веке, который по многочисленным традициям характеризует и начало, и конец истории»⁷⁰.

И самое удивительное в тоталитарном мифе то, что, будучи представлен в качестве идеологии, этот миф, весьма далеко отстоящий от тех мест, где он впервые возникает, тем не менее весьма успешно «вербует» миллионы последователей под свои знамена, проявляя не только очень хорошую выживаемость во времени, но и активную политическую способность по мобилизации и активизации населения тоталитарных стран. Внедряясь в историческую действительность, миф, в качестве вневременной «вечной схемы», бессознательно существующей «платоновской идеи», «формы коллективного бессознательного», придает самой этой действительности динамизм и направленность исторического развития, бессознательно или сознательно осуществляющего идеальные утопические цели вне исторического мифа. Идеальная схема, утопия, становясь реальностью, и сама реальность окрашивает в цвета этой утопии, в цвета «зверя из бездны», характерные для всех прозелитов «нового» учения, определяющих горизонты самого этого политического мифа, его историческую перспективу.

ГЛАВА 4 НЕОКОНСЕРВАТИВНЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ ПРОТИВ ЛИБЕРАЛИЗМА

Строители будущего, не всегда благодарны по отношению к прошлому, к мудрости, пророчествам. Ученики не чтят учителей, они не всегда замечают свою зависимость и преемственность от прошлого, прошлого как бы нет, хотя бы уже потому, что оно — прошлое, а впереди стоит насущная задача построения нового, невиданного ранее будущего. Само прошлое — это «среда», воздух, которым дышат с момента рождения, которое как таковое не замечают, оно всегда дано, уже дано и не всегда подвергается предварительному анализу. Само настоящее как бы включает в себя прошлое в виде бессознательно воспринимаемой «смеси», не выступающей предметом анализа и только изменение составляющих «смеси» впервые как бы заставляет обратить на себя внимание. Прошлое в настоящем — это как бы естественная установка мышления, точка, от которой начинают движение, остающаяся почти всегда вне поля анализа, хотя именно она остается тем фундаментом, на котором покоится все здание будущего.

Наиболее ярко эта особенность появилась у строителей нового социального строя, который взялись создать свой новый мир в начале XX века, в период, когда формировались такие явления, как большевизм, социал-демократия — в России и национал-социализм — в Германии, т.е. тогда, когда не только теоретически закладываются, но скорее практически реализуются

многие идеи исторических предшественников. Показателен пример не только К.Н.Леонтьева в России, философа, идеи которого были практически вытеснены из исторической памяти современников, но бессознательно реализованы многие его «предвидения» и «пророчества» в явлениях национал-большевизма и евразийства, но и Ф.Ницше, которого при всем почтении к нему национал-социалистических идеологов — чтили, отдавали дань исторического уважения и признания как критику минувшей эпохи, эпохи XIX века, вовсе не замечая того, что вся деятельность, все попытки построения нового движения являлись лишь реализацией, воплощением основных устремлений, собственно, позитивной, бессознательно усвоенной поздней философии немецкого мыслителя. Это было осуществление, манифестация проекта «Великой политики», только намеченной им, эскизно построенной философии, более того, и сам «национал-социализм, его основной пафос и является частично пунктирно намеченной «европейской формой буддизма», также разрабатываемой философом в поздний период своей философской деятельности.

И если критический пафос неоконсервативных мыслителей, таких как К.Н.Леонтьев и Ф.Ницше, был на виду, на поверхности, связан со временем, которое уже прошло, то их «позитивный» пафос, их посыл в будущее как бы растворился в культурной среде, стал необходимым, но незамеченным элементом воздуха, атмосферой, в которой впоследствии стали находиться грядущие поколения, неосознанно, бессознательно, придающие «вкус», аромат переживаемой эпохи. Так например М.Хайдеггер, пытаясь отстоять философское наследие Ф.Ницше от национал-социалистических интерпретаций в Германии в 30-е годы и стремясь противопоставить им свою интерпретацию немецкого мыслителя, тем не менее, замечает: «Мы нынешние, однако, еще не знаем причины, почему сокровенное в метафизике Ницше не

могло быть вверено общественности им самим, но оказалось таящимся в наследии; все еще таящимся, хотя это наследие в основном пусть в очень обманчивом виде, стало доступно»⁷¹. Ему словно вторит О.Шпенглер, когда утверждает: «Исполнено глубочайшего значения, — то обстоятельство, что Ницше обнаруживает совершенную ясность и уверенность, как только речь заходит о том, что должно быть сокрушено и что переоценено; напротив он теряется в туманных общих местах, как только приходится говорить о «для чего», о цели. Его критика декаданса неопровержима, его учение о сверхчеловеке — сплошной мираж»⁷². И далее, может быть, самое характерное: «Тут что-то завершилось. Северная душа исчерпала свои внутренние возможности; оставалась лишь динамика «бури и натиска», которая проявлялась в видениях будущего, измеряемых тысячелетиями, взыскующая творчества, форма, лишенная содержания»⁷³.

И все это говорилось и писалось именно тогда, когда все «таящееся», то, что было видением будущего, именно в нем и обретало свою «плоть и кровь», может быть, как неудачная, но все же форма его реализации, и именно в силу растворенности в воздухе, осталось незамеченным этими, во многом весьма проницательными и глубокими, мыслителями. Поразительная близорукость к настоящему и столь же поразительная глубина резкости, но по отношению к прошедшему. Ницше — критик прошлого, разрушитель и ниспровергатель, никак не воспринимается ими и как строитель, зодчий того храма, историческими свидетелями строительства которого они являлись. Именно Ф.Ницше расчистил место для того «нового», эскизы которого были им предварительно намечены, только намечены, а само строительство было завещано грядущим поколениям, как бы уже имеющим, преднайденные формы построения «нового» социально-политического движения.

Точно также и национал-большевизм, «евразийство» в лице его наиболее ярких представителей, таких как Н.В.Устрялов, при анализе формирования итальянского фашизма, немецкого национал-социализма, большевизма в России прямо выявляет в этих социальных движениях логику, которую он находит во многих высказываниях, относящихся к будущему, видение этого будущего православным мыслителем, пророком, духовидцем конца XIX века — К.Н.Леонтьевым⁷⁴. «Логика истории» самого этого будущего, преднайденного в «пророчествах», движется отнюдь не по произволу самих, проживающих это будущее, а в неких, бессознательно усвоенных, но затем как бы сознательно реализуемых формах. «Мрамор будущего» портала вновь воздвигаемого храма «раскалывается» по силовым линиям, «напряжениям — прожилкам», таящимся в самом камне и заложенных в нем в далеком прошлом. И мудрость строителей нового социального проекта сводится к тому, чтобы «угадать», почувствовать эту внутреннюю, скрытую логику самого строительного материала, духовной ауры, в которой ведется это строительство, оно растворено в воздухе в виде компонентов, не всегда ощущаемых в силу их привычности на «вкус», органолептически, при помощи органов слуха и зрения.

Тем самым то, что, казалось бы, ушло в «отвалы истории», было ее «критикой», вновь вернулось в качестве фундамента настоящего и во многом — будущего. Прошлое — как радиоактивность, остаточно излучает, «фонит», и в самом новом, самом современном материале оно дает о себе «знать». И это тем более важно отметить именно по отношению к неоконсервативной традиции прошлого, поскольку сами эти силовые линии, «прожилки», в историческом массиве «настоящего» были заложены неоконсервативными мыслителями в конце XIX века не только исходя из некоей возможной модели будущего и для будущего, но главным об-

разом, с позиции «*sub specie aeterni*», как вечная форма не только воскрешения и реконструкции социального архетипа, отвечающего основным законам самого бытия в его неоконсервативной интерпретации, в видении «вечности». «Клеймо вечности», вневременности предлагаемых ими интерпретаций существенно отличается эти только намеченные проекты будущего социального общества — неоконсерватизм от традиционно-консервативного охранения «*status quo*» и уж тем более от его социального реформирования в духе господствующих представлений о развитии и прогрессе.

В данном случае неоконсерваторы выступили в весьма необычной социально-исторической и политической роли, несвойственной, казалось бы, философам, а скорее жрецам-сакрификаторам, «очистителям», реконструирующим из завалов современности подлинные онтологические основы бытийного архетипа, они были подобны лингвистам, реставрирующим «первичный» текст, матрицу бытия от позднейших интерпретаций, хотя и вполне возможно, что такой вещи, как «первичный контекст» вообще не существует и всегда имеется лишь интерпретация, исходящая из представлений того или иного времени. Именно так реализуется история в ее преемственности и не всегда осознаваемых детерминистических связях, даже при отталкивании от прошлого, оно всегда остается в остатке, всегда незримо присутствует в самом новом и оригинальном.

Выступая против либерализма, неоконсерваторы поневоле во многом в критике совпадали с выходящим на политическую арену социалистическим движением, которое тоже утверждало себя через отрицание господствующих либеральных идей. Если неоконсерваторы отрицали либерализм за разогревание общества, увеличивающуюся социальную мобильность, отказ от традиций и авторитетов, взрыв иерархической структуры общества, равенство всех перед законом, триумф мате-

реалистических, позитивистских, гедонистических ценностей, отстаиваемых либералами в противовес спиритуализму и аскетизму уходящих эпох, то социалисты часто говорили о восстановлении утраченной в процессе либерализации социальной справедливости, хотя и их тоже не устраивала крутая ломка социальных связей, люмпенизация общества, политическая дезинтеграция общества, избыточность «свободных» рук, возникающая в процессе либерализации.

И для неоконсерваторов, и для социалистов либерализм представлял собой хаос, некое «первичное» состояние, из которого и предстояло в дальнейшем «восродить» новое общество — общество, построенное на иных, более «справедливых» основаниях, как бы выражающих бытийный архетип в качестве некоей «заданной» постоянной, неизменной идеологии, выражающей абсолютные бытийные ценности. В борьбе против общего врага — либерализма неоконсерваторы и социалисты подчас создавали некие «симбиозы», «синергии» неоконсервативной и социалистической идеологии, самым ярким из которых, например, явился социальный проект начала XX века — «пруссский социализм» О.Шпенглера⁷⁵, или «ницшеанский марксизм» в России, представленный такими видными деятелями социал-демократии, как А.В.Луначарский, А.А.Богданов и первый пролетарский писатель — А.М.Горький: люди из ближайшего окружения В.И.Ленина в 20–30-е годы XX века. «Отцы-основатели» самих идеологических направлений К.Маркс и Ф.Ницше вряд ли одобрили бы сам этот «симбиоз», но история развития социальных движений распорядилась по-своему. Впоследствии и тоталитарный режим Германии, и тоталитарный режим России признали их «еретиками», «отступниками», однако историческая и логическая взаимозависимость неоконсервативной и социалистической идеологии в начале XX века была налицо и представляла собой как бы тоже элемент фундамента, из которого возник сам тоталитаризм.

И то, что для современников в начале века представлялось несопоставимым «кошунством», то в конце XX века эти мыслители не столь уж абсолютно противостоят друг другу и, более того, находят огромное количество точек соприкосновения. Ф.Ницше и К.Маркс как «отцы-основатели» современного неоконсерватизма и современного социализма тоже сближаются и выступают в неразрывной связи теоретиков тоталитарной идеологии XX века⁷⁶. И действительно и К.Маркс, и его младший современник — Ф.Ницше, являясь очевидцами формирования капитализма в Европе и, в частности, в Германии, приняли его рождение за его агонию и каждый по-своему предложил свои рецепты спасения общества. Оба покончили с линейной концепцией истории, ее телеологизмом и создали своеобразные циклические концепции, в которых через «возвращение к истокам» (первобытно-общинный коммунизм — коммунизм будущего) у К.Маркса и «вечное возвращение того же самого» — Ф.Ницше задали некоторые абсолютные ценности общественного развития. И К.Маркс и Ф.Ницше в своей критической фазе выступили с разоблачением отчуждения и возвращения ценности человека, человека «природы», только при этом само понятие «природы», базиса человеческой культуры различно, как различна и биологическая, не социализируемая сущность человека, его биологический субстрат. Как у одного, так и у другого философия самотрансцендируется, разбивается о действительность и переходит к «практике». И если К.Маркс своеобразно описал буржуазную культуру, по крайней мере ее временную структуру, то Ф.Ницше критически разбил этот образ действительности в своей концепции нигилизма. Каждый из них предложил свой выход для гибнущей, по их мнению, цивилизации, вроде грядущего коммунизма К.Маркса и анархического революционаризма, фашизма Ф.Ницше. Деклассированные, стоящие «по ту сторону

добра и зла», и К.Маркс, и Ф.Ницше явились революционерами в «морали» — оба создали свою «этику», подчиненную прагматическим целям своей эсхатологии.

И вовсе не секрет, что на «практике» критический пафос их не дифференцируется и, подчас, сливается в единый процесс отрицания буржуазной культуры: «переоценка ценностей» Ф.Ницше и критика «отчуждения» К.Маркса — становятся единым программным лозунгом политической реальности. По сути своей чисто теоретическое предположение К.Маркса о «пролетарском мессианизме», в котором «низший слой, освобождающая себя, спасет всех», весьма органично наложились на идеи «искупления», «спасения», которые активно использовали многие идеологи в XIX веке: художники, музыканты, в частности, это основной мотив многих опер Р.Вагнера, не говоря уж о христианской традиции. При этом не учитывалась ни структурная трансформация капитализма, во многом ставшая причиной заката теории о гегемонии пролетариата и «пролетарской диктатуры», которая отнюдь не следовала марксистской схеме классовой борьбы. И сам процесс трансформации и саморазвития капитализма предстал в социалистической идеологии как цепь предательств, ревизий самого классического представления об искуплении и миссии рабочего класса. Так Э.Бернштейн предал К.Маркса, европейские социал-демократы — рабочий класс, «советская бюрократия предала своих революционных вождей, предала «объективные» законы истории, открытые К.Марксом.

На самом деле, в процессе саморазвития и изменения капитализма в области идеологии выступали трансформации самого изменяющегося мира, но не как «цепь предательств», а, скорее, как «нарциссизм маленьких отличий». Но цель К.Маркса и Ф.Ницше — основателей социалистической и неоконсервативной идеологии, их выход из тупика гибнущей, по их мнению, цивилизации, состояла в создании некоей модели «стационар-

ного развития», которое, воплощая в себе абсолютные бытийные «ценности», строит будущее общество своеобразно понятой «справедливости» и «верности» бытийному архетипу, возвращением к которому, собственно, и являются проекты будущего. И в том, и в другом случае: и в случае построения коммунистического общества, и в случае осуществления «Великой политики» Ф.Ницше — речь шла о «третьем пути», который, не являясь повторением прошлого, феодального прошлого, все же не является тем капитализмом, современниками которого они являлись⁷⁷.

Как социализм, так и национал-социализм ставили перед собой задачу создания «нового» общества, «нового» человека, который принципиально будет отличен от концепции человека, предлагаемой либеральной теорией в виде «атомарного» индивида, которого связуют с другими такими же индивидами только экономическая необходимость, только голый интерес пользы и материального принуждения. В новой формируемой антропологии «третьего пути» класс, классовая солидарность, борьба — в социализме и «кровь», единство народа, логика его происхождения, генеалогия — в национал-социализме — становятся связующими элементами, опосредующими отношения в обществе. При этом и подчас в качестве единого верного критерия сама эта «связь» становится важнее индивидов, которых она объединяет, поскольку в жертву ей часто приносится та или иная личность, индивид, не отвечающий чистоте этой связи. Как отмечает К.Лефор, анализируя феномен тоталитаризма, «пролетариат составляет одно целое с народом, партия — с пролетариатом, наконец, политбюро и эгократ — с партией. И вместе с тем как расцветает представление о гомогенном и прозрачном в себе обществе, едином народе, отрицается во всех формах социальное разделение и одновременно отвергаются все признаки различия верований, мнений, нравов»⁷⁸. И прежде все-

го, отрицается то, что как бы составляет необходимую предпосылку либерального общества — демократия. Делается это вполне сознательно и как вытекающее из логики самой классовой борьбы в обществе, строящем новое, отличное от прошлых эпох. Так например, И.В.Сталин, формулируя методологию построения «нового» общества и ссылаясь при этом на выполнение заветов В.И.Ленина, пишет: «Отдельные требования демократии, — говорит Ленин, — в том числе самоопределение — не абсолюты, а частичка общедемократического (ныне общесоциалистического) мирового движения. Возможно, что в отдельных конкретных случаях частичка противоречит общему. Тогда надо отвергнуть ее»⁷⁹. Частичка тут, частичка там — и в целом появление строя без демократии вообще, но с демократической демагогией в идеологии. И словно исправляя саму эту демагогию, точнее, отбрасывая ее, младший современник и тоже основатель тоталитарного режима, возникшего как своего рода исправление ошибок национал-социализма — Гитлер, уже без всяких демократических или социал-демократических уверток заявляет: «Я многому научился у марксистов. И я признаю это без колебаний. Я учился их методам. Я всерьез взглянул на то, за что робко ухватились эти мелочные секретарские душонки. И в этом вся суть национал-социализма. Национал-социализм — это то, чем мог бы стать марксизм, если бы освободился от своей абсурдной искусственной связи с демократическим устройством»⁸⁰. И это весьма знаменательная, симптоматичная переключка лидеров обоих тоталитарных режимов по поводу построения «нового» общества.

Но еще более интересное объединение методологии происходило в области антропологии, в области построения нового человека. Здесь прямо сочетались марксистские лозунги о преодолении «отчуждения» и «собрания человека»: сверхчеловека — заимствованные

из словаря Заратустры Ф.Ницше, как это было предложено А.А.Богдановым. Долгое пребывание за границей В.И.Ленина, несомненно знакомого с философией Ф.Ницше, ознаменовалось лишь краткой оценочной фразой немецкого мыслителя как психолога, давшего «психологическое понимание империализма»⁸¹. Тогда как для его ближайшего товарища по эмиграции А.А.Богданова антропология Ф.Ницше стала своего рода методологией построения «нового человека» революционной эпохи. «Новая антропология» А.А.Богданова полностью воплотила в себе еще на заре тоталитарной эпохи своеобразный «синтез» утопии и антиутопии или, как отмечает К.Лефор: «...идеал крайней искусственности с идеалом крайне органицистским...»⁸², синтез, противоположность которого стремились предотвратить и предсказать-предугадать многие крупнейшие мыслители начала XX века. Это и Г.Уэллс, и О.Хаксли, и Е.Замятин и, наконец, Д.Оруэл. Однако, все происходило по другим историческим сценариям, вовсе не корригирующим свое развитие с оглядкой на антиутопии, а с прицелом на формирование индивида, который беспрекословно подчиняется навязанной ему идеологии, безусловно подчиняется предложенному ему порядку и столь же безусловно подчиняется вышестоящему начальнику. Свобода индивида и состоит не в либеральной свободе, ограниченной другим индивидом, а в свободе подчинения, добровольного, безусловного и бесконечного — только в таком виде полностью отвечала особенностям тоталитарного строя. Формой воспитания такого индивида становится террор, страх, принуждение, спиритуализированное, доведенное до абсурда, как форма спиритуализации жестокости, согласно формуле Ф.Ницше.

Если К.Маркс в своей формулировке «отчуждения» полагал, что человек в процессе капиталистической социализации теряет — отчуждает какие-то черты своей родовой сущности, своей ценности и полностью вер-

нуть их должна грядущая социальная революция, то в данном случае наоборот: одухотворение, спиритуализация жестокости, возведенная в ранг воспитательной методологии, должна из индивида сформировать, спрессовать «нового» человека — человека тоталитарной эпохи, насильно загнанного в тоталитарный рай «свободы и подчинения». Снятие «отчуждения» индивида в тоталитарном государстве оказалось формой принуждения, приспособления путем одухотворения, спиритуализации жестокости к новым узким, сугубо функциональным обязанностям в рамках тоталитарного режима. Только называлось это принуждение в терминах тоталитарного новояза процессом «собираания человека», термином, прямо пародирующим, соотносящим сам этот процесс с намеченным, только намеченным Ф.Ницше, в его концепции «сверхчеловека».

Рисуя еще во многом туманные образы грядущего коллективного «товарищеского» общества социализма, А.А.Богданов постоянно и как бы «несознательно», путает тексты социалистического и неоконсервативного содержания и, скорее, стремится «амальгамировать», сплавить воедино их различия и разночтения в единый текст — текст построения нового постиндустриального социалистического общества. Это и заявлено уже в эпиграфах к статье «Собирание человека»: эпиграфы взяты из Библии, К.Маркса и Ф.Ницше. Это те путеводные звезды, которые стояли над философом-утопистом в момент написания статей, посвященных новой антропологии. Цель статей состоит в том, чтобы переоценить, переосмыслить многие представления либеральной идеологии и противопоставить им новые коллективистские, товарищеские ценности — ценности социализма. Само выдвигание «коллективистских» ценностей должно было, по замыслу философа, заменить буржуазное насилие — насилие по принуждению на насилие, но насилие по убеждению, внутреннему, делающему раба по необхо-

димости — пролетария — рабом по внутренней, сознательно формулируемой целесообразности, готовности принести себя в жертву новому строю.

Итак, статья начинается с предисловия, в котором сразу же заявляются цели и задачи исследования, которые А.А.Богданов формулирует не более, не менее как: «...развитие высшего типа жизни...», «...изменение типа человеческой личности...», «...устранение той узости и неполноты человеческого существа, которые создают неравенство, разнородность и психическое разъединение людей»⁸³. Ритуальная ссылка на К.Маркса в поисках «линии развития «высших проявлений человеческой жизни»⁸⁴ вовсе не скрывает явно выраженный ницшеанский подтекст самого изложения. Тем более, что, как уже отмечалось, в критике либерализма, в его отрицании сходились, и подчас весьма близко, и социалисты, и неоконсерваторы конца XIX века, так что эти отличия почти не дифференцировались. Подобно Ф.Ницше («Генеалогия морали», «Антихрист»), А.А.Богданов свое изложение строит как генеалогию человека, индивида и сразу же выделяет два типа личности: «человека группы» и «организатора групповой жизни»⁸⁵. Это еще не классовое разделение по К.Марксу, но дуализм типов сознания, типов личности. «Тот, кто повелевает, — пишет А.А.Богданов, — неминуемо с различной точки зрения воспринимают одни и те же факты»⁸⁶. Более того, философ считает, переход невольно на позиции субъективного феноменализма: «Всякий строит мир по образу и подобию своего социального опыта»⁸⁷. В дальнейшем специализация не устраняет «авторитарного дробления человека», но создает противоречия. Противоречия и дробление индивида проникают все глубже и охватывают все сферы жизни, но оно же (дробление), как считает философ, «порождает не только неполноту жизни, раздвоенность опыта, раздвоенность мира: оно порождает реальные жизненные

противоречия и через них — развитие»⁸⁸. В свою очередь: «В раздробленном человеке со стихийной силой возникает потребность стать целым. Она несет ему тяжелые муки неудовлетворенности, но и толкает его на путь борьбы за ее удовлетворение. На этом пути совершается **собрание** человека»⁸⁹. И как конечный вывод из этой генеалогии индивида: «Новейшее время, — считает философ, — является эпохой **собрания** человека»⁹⁰. Все прошлое — как бы предыстория, история нового человека только начинается. И формы, в которые предполагается отлить его, весьма своеобразны, хотя столь же схематично очерчены, почти так же и истории прошлых эпох. Противопоставленное либеральному индивидууму, «собрание человека» А.А.Богданова, так же противопоставлено и аристократическому антропологизму «сверхчеловека» Ф.Ницше: оно коллективистично по определению, оно собирает человека-товарища — человека социалистического, а по сути своей — тоталитарного, человека-винтика, шестеренки в огромном механизме тоталитарного государства.

В этой концепции социалистического товарищества происходит буквальное переворачивание аристократического индивидуализма Ф.Ницше. Если для немецкого мыслителя все человечество — это некий пьедестал, субстрат, подпочва, на которой стоит, вызревает «сверхчеловек» («Не человечество, но сверхчеловек, — пишет Ф.Ницше, — вот цель»⁹¹), то для русского социалиста наоборот: отдельный индивид, человек, личность и т.д. — ничто перед целостным видением человечества, его социальной цели, его устремленности в будущее. «Товарищ дорог товарищу как гармонично с ним действующая сила, — пишет А.А.Богданов, — в общей борьбе, как частичное живое воплощение общей цели»⁹². И в этом смысле оба товарища гомогенны друг другу, взаимозаменяемы, их не отличает какая-либо качественная разница: у людей-винтиков вообще нет качества, а

только «номера» — количественные характеристики, которые тоже меркнут перед величию цели, поставленной себе социалистически ориентированным человечеством. «Товарищ выбыл из строя, — поясняет эту «товарищескую динамику» А.А.Богданов, — товарищ погиб, — первая мысль, которая выступает на сцену, это как **заменить** его для общего дела, как заполнить пробел в системе сил, направленных к общей цели»⁹³. И если у Ф.Ницше: «...каждый человек со всей его деятельностью имеет лишь постольку достоинства, поскольку он сознательно или бессознательно является орудием гения, из чего можно вывести этическое следствие, что «человек в себе», «абсолютный человек» не обладает ни достоинством, ни правами, ни обязанностями»⁹⁴, то буквально переворачивая это же методолого-этическое правило неоконсервативной аристократической антропологии.

А.А.Богданов и в своей концепции «товарища» — нового человека — социалистического будущего вводит свой критерий, делящий индивидов на весьма своеобразные, тоже различающиеся узко функционально, прагматические категории «работника» и «вампира» по принципу социально политической, энергетической политэкономии, по принципу сложения и вычитания сил, вносимых или выносимых «товарищами» в процессе строительства социалистической утопии. Это как бы «табель о рангах», дифференцирующая «товарищей» и дающая им этой положительной, либо отрицательной энергетикой право на жизнь в этом огромном «полипняке» индивидов, направленных и строго ориентированных по отношению к цели, поставленной человечеством.

Ф.Ницше, создавая свою кастово-ранговую антропологию «сверхчеловека» еще не давал конкретных указаний по ее осуществлению — это были лишь намеки, «предчувствия», но А.А.Богданов, тоже сомневающийся на счет сроков осуществления и потому относящий их в утопическое время, в своем романе-утопии «Крас-

ная Звезда» дает четкие рекомендации по дифференциации рангов, имеющих право на существование, на жизнь, согласно выработанной методике энергетического сложения сил. Это и своеобразное «пролетарское» интерпретирование ницшеанской теории «добровольной смерти», изложенной Ф.Ницше в «Так говорил Заратустра», и теория своеобразного бессмертия, «вечно-го возвращения того же самого, интерпретированная А.А.Богдановым в биологически-виталистическую теорию «товарищеского обмена жизнями», и концепция «зародышевых людей» — людей низшей расы, которая как бы противостоит человеческому типу и которыми можно пожертвовать во имя высших целей человечества. И как кульминация, как, собственно, прибавление к ницшеанизированным интерпретациям «пролетарского коллективизма» — теория о «вампирах». Теория исходит из понятия «пролетарской справедливости» как некоей формы виталистической экономики самой жизни. Суть ее состоит в том, что до тех пор, пока индивид — «товарищ» — своей работой, жизнью что-то привносит в жизнь коллектива, коллектив считает его полезным работником, но если этот поток приращений кончается, то даже и этот, некогда полезный работник, становится «вампиром». Пролетарская философия коллективистски понятой жизни подсказывает А.А.Богданову следующую калькуляцию: «Но пока он (индивид, товарищ — *А.М.*) дает ей больше того, что берет, он увеличивает сумму жизни, он в ней плюс, положительная величина... Однако так случается редко. Гораздо чаще человек, который слишком долго живет, рано или поздно переживает сам себя. Наступает момент, когда он начинает брать у жизни больше, чем дает ей, когда он своим существованием уже уменьшает ее величину... Он не только паразит жизни, он ее активный ненавистник, он пьет ее соки, чтобы жить и не хочет, чтобы она жила, чтобы она продолжала свое

движение»⁹⁵. Более того: «вампир» — это не столько физиологическое, возрастное понятие, а, как отмечает герой фантастической утопии А.А.Богданова, ими могут быть целые классы общества. Он утверждает: «Когда «отживают целые классы общества, то мертвецы рожают мертвецов»⁹⁶. Это не расизм в духе Ф.Ницше, который говорил об уничтожении гниющих рас, но «классизм» — доведенная до абсурда классовая борьба пролетарского коллективизма, это перевернутая «калька» неоконсервативных утопий немецкого иррационалиста, переведенная на язык классовый борьбы русским социалистом. И вообще, сам стиль рассуждений, пафос их, при всем ритуальном поклонении пролетариату, если его можно так определить, — пролетарско-аристократический, т.е. ницшеанский.

А рассуждения А.А.Богданова об «активностях рынка» в статье «Современные идеалы» (1917) — это сплошная «микрофизика власти», феноменология власти «воли к власти» все того же Ф.Ницше, только приспособленная к нуждам пролетарской науки. «На рынке враждебно сталкиваются, — пишет А.А.Богданов, — не физические силы людей, а их воли. Продавцы и покупатели выступают там как полновластные организаторы или распорядители каждый своего хозяйства и в качестве таковых проявляют взаимно противоположные стремления. В сфере этих организаторско-волевых активностей и разворачиваются дезинтессии рынка... Нет прямой конъюгации хозяйственно-руководящих волей — нет результирующих из такой конъюгации — общей руководящей роли»⁹⁷.

Крайности не только сходятся, но в данном случае неоконсервативный немецкий философ дает русскому социалисту не только слова, но и сам мотив, методологию анализа социальных явлений, даже путем полного или частичного переворачивания самих «первичных» текстов. Рынок предстает как арена противоборствую-

щих воль, «воль к власти», конкурирующих между собой. Тогда как следуя в том все той же волюнтаристской логике социализм — это общество не знающее конкурирующих, соперничающих между собой воль, индивидов, это одна, единая, спаянная из миллионов личных воль — воля целого тотального, коллективного и «товарищеского». Естественно, что все эпитеты, вроде «тотального» и «коллективного» и т.д. в этом определении социализма являются синонимичными по значению друг другу. Это единый динамический порыв, направленное стремление миллионов по осуществлению единой цели, единой воли, единой телеологии всего динамического процесса. И в этом «порыве» органично «сплавлены» и «классизм», и «волюнтаризм» и «коллективистки товарищеские» отношения во имя общей цели, телеологии всего движения. По сути дела этот «товарищеский социализм» А.А.Богданова немногим отличается от «прусского социализма» О.Шпенглера: все те же «люди-винтики», «служилые» на службе государства, с той лишь разницей, что в прусском бюрократическом социализме — все чиновники, и все — на службе государства⁹⁸, хотя и возможна некоторая вертикальная подвижность, а в «товарищеском коллективистском социализме» о такого рода активности не сказано ни слова: все решают вожди — организаторы производства.

И обе эти концепции социального будущего, вышедшие из-под пера неоконсерватора и социалиста, удивительным образом совпадают в «третьей» концепции, намеченной позже В.И.Лениным в «Государстве и революции» (1917) и как бы вытекающей из заветов классиков марксизма. «Все общество будет, — писал в этой работе В.И.Ленин, — одной фабрикой с равенством труда и равенством платы»⁹⁹. И название этой «конторы» тоже будет общее для всех трех концепций будущего — тоталитарное государство, противопоставленное либеральной концепции минимального государства —

государства «ночного сторожа», стоящего в далеком далеке от процессов капиталистического обращения и стихии рынка. Так задумывалось, по крайней мере, так мечталось. А что получилось из этого? В Германии О.Шпенглер просто не дожил до этого. В России А.А.Богданов уже в декабре 1917 года констатировал: «Партия стала рабоче-солдатской... Партия рабоче-солдатская есть объективно просто солдатская. И поразительно, до какой степени преобразовался большевизм в этом смысле. Он усвоил всю логику казармы, все ее методы, всю ее специфическую культуру и ее идеал. Логика казармы, в противоположность логике фабрики, характеризуется тем, что она понимает всякую задачу как вопрос ударной силы. А не как вопрос организационного опыта и труда»¹⁰⁰.

И если вспомнить, что первичным импульсом, образом, лежащим в основании концепции «воли к власти» Ф.Ницше, явилось созерцание колонны марширующих прусских солдат во время Франко-прусской войны 1870 года, направляемых как раз на подавление, удушение Парижской коммуны во Франции, то метаморфоза большевизма, превратившего весь народ своей страны в подобную колонну марширующих солдат, а само государство — в казарму, как это констатирует А.А.Богданов уже в 1917 году, весьма знаменательно.

Круг завершился — видение «воли к власти» обрело свою «плоть и кровь», но сначала в России, а затем — в Германии в образе тоталитарного Государства-Левиафана, этого библейского «зверя из бездны». Метафизика обрела свою реальность, актуализировалась в России на 70 с лишним лет и на 12 — в Германии. Метафизическая философия неоконсерватора Ф.Ницше с какой-то неумолимой логикой исторического развития восторжествовала и в социалистической России, и в феодально-монархической Германии XX века и стала определяющей для пафоса государственного устройства

тоталитарных режимов обеих стран. Логика казармы, «осажденной крепости» в этих странах во многом определила и идеологию, и геноцид, развернутый против собственного населения, перед которым меркнут «объективистские» попытки ряда историков этих режимов дифференцировать их по критерию прогрессивности, направленности по вектору мирового развития в качестве «догоняющих», либо уходящих в прошлое, в средневековье. Если это и была модернизация государств, то проводилась она с таким варварским размахом и такими варварскими способами каннибалов, перед которыми сами древние, архаические прототипы — просто жалкие и наивные ученики, далеко отстоящие от своих ушедших потомков. И если это и был прогресс, то прогресс модернизированного варварства, сделавшего насилие, убийство средством технологического процесса развития. И тоталитаризм, и социализм, и национал-социализм — это слова-синонимы, полностью покрывающие область значений друг друга, одно-порядковые слова, отличающиеся друг от друга лишь по территориальной, пространственной распространенности, степени выраженности своих признаков, но никак не качественно — ведь даже малая крупница тоталитарно-социалистического яда способна, подобно вирусу особо опасной инфекции, отравить все общество, сделать его насквозь пораженным тоталитарной идеологией — идеологией «биологического расизма» или классового, своеобразно понимаемого «товарищества». Тем более, что и в настоящее время, в конце XX века, когда, казалось бы, завершились все три составляющие, одно это общее синонимическое тождество: и фашизм, и социализм, и тоталитаризм -определить не удалось, чтобы отдифференцировать его, все появляются разом и определяются только лишь одно через другое, в сравнении с другим, взаимодополняя и взаимоисключая друг друга¹⁰¹. Надо быть уж очень «объективным ученым»,

чтобы проводить водораздел, разницу по принципу, отличающему одно убийство от другого: являлось ли оно национал-социалистическим, либо большевистским. Убийство само по себе, а уж тем более в качестве средства государственной политики — факт знаменательный. Ведь как рассуждают «объективные ученые»: «Тоталитаризм» подобно «фашизму» имеет двойственный характер. Он был и остается не только термином научной теории, но и политическим лозунгом. Но теория может быть оправдана лишь сравнением с опытом, и в этом отношении смешение понятий фашизма и тоталитаризма обнаруживает свои слабости. Так, все теоретики тоталитаризма недооценивали значение расизма в фашистской идеологии. Отождествляя фашистскую идеологию с марксистской, они упускают из виду, что при фашистских и коммунистических режимах террор был направлен против различных групп населения — фашистское расовое убийство отличается от большевистского классового убийства. Это важнейший критический довод»¹⁰². Довод критический, но только при этом идеологическое право осуждения на смерть индивида, проведенное под тоталитарным, фашистским или коммунистическим мотивом, становится единым знаменателем, показывающим единую каннибалистическую сущность (интересно, а каким доводом, идеологией, метафизикой, политикой убеждали себя древние каннибалы, в чем их отличие от современных?) режимов, ставящих как бы знак равенства на самих, таким образом разделенных понятиях. Жертве, а уж тем более, миллионам жертв тоталитарного, фашистского или коммунистического режимов безразлично, расовое, классовое или тоталитарное основание для гибели предложено им в качестве объяснения. Здесь не может быть дегустации по классу, расе и принадлежности к тоталитарной целостности.

И любое государство, поставившее своей целью, своей идеологией истребление своего, либо другого населения в качестве средства для построения некоего идеального будущего, подобно средневековой чуме, которой объективно тоже было неважно классовое, расовое, либо тоталитарное происхождение зараженных ею людей. И в этом смысле, объективистски говоря, безразлично: тоталитарное, фашистское, либо коммунистическое убийство — смерть не знает подобных различий, и это тоже важнейший критический довод. И наоборот, в словах тоталитарная, фашистская, либо коммунистическая «чума» идеологии — важна не окрашенность, а само понятие «чума», ставящее заражение ею общество вне общечеловеческих норм «добра и зла», ставящее его вне рамок человечества и человеческого общежития. В данном случае сходство режимов по их приближенности к социально опасной «чуме» важнее их различий по цвету знамен и лозунгов. Может быть, расизм не тождественен антисемитизму, т.е. расизм гораздо шире узко понятого национализма, может быть, расизм отличен от классового критерия, но суть одна, и это самое главное. И «расистское радикальное фашистское государство», и «радикально коммунистическое классовое государство» в качестве основной идеологемы своего построения ставят «по ту сторону добра и зла» предпосылку уничтожения всего того, что не отвечает расовому, либо классовому критерию, сортирующему людей, обрекающему огромное их количество на смерть.

Но в таком случае закономерно встает вопрос, чем на самом деле являлись эти тоталитарные, фашистские, коммунистические режимы? Были ли они действительно движением против либерализма и либеральной идеологии, провозгласившим своим основным теоретическим лозунгом свободу? Являли ли они «третий», особый, путь движения человечества или являлись фор-

мой регрессивного движения — движения «спиной вперед», тупиком социального развития? И можно ли вообще получить прогресс, в том числе и социальный прогресс, в случае регрессивного движения? Что такое тоталитаризм вообще? Сводим ли он в целом к диктаторским режимам XX века или его характеризует еще ряд других признаков? По крайней мере, его так трактуют и Х.Арендт, и З.Бжезинский, и Р.Арон, хотя при этом остаются невыясненными ни причины возникновения тоталитарных режимов, ни механизмы их разложения. Не спасает положение и попытки понять тоталитаризм как квазирелигиозные режимы, хотя имеются четко выраженные, почти религиозные, идеологии, обряды и идеальные образцы для подражания, мессианизм и провиденциализм устремлений.

Не все тоталитарные режимы XX века обладают одним и тем же набором признаков и, в частности, итальянский вариант тоталитаризма носил, во многом, «декоративно-опереточный» характер, в нем отсутствовали массовые репрессии, национализм не имел характера расизма, почти не проявлен экспансионизм устремлений. И единственный признак, который, пожалуй, может объединить все разновидности тоталитаризма как форму идеологии XX века — это «террор», «страх», который усиленно насаждался почти во всех тоталитарных странах, да еще почти обязательное наличие «образа врага», являющегося единственным теоретическим оправданием массовых политических чисток. И в этом смысле Освенцим и ГУЛАГ представляют собой сходные социальные феномены.

Столь же спорны попытки отграничить один тоталитарный режим от другого по критерию выделенной, обязательно правящей, партии и ее отношение к собственности. В Германии НС ДАП не обладала такой абсолютной властью, как КПСС в России, в ней, скорее, преобладал «ведомственный дарвинизм» государ-

ственных структур, в отличие, скажем, от столь же абсолютной власти в России, принцип «фюрерства» в Германии допускал возможность принятия отдельных, частных, несущественных, но тем не менее, самостоятельных решений. Так же спорно и отношение к собственности, якобы отличающее режимы между собой: в СССР частная собственность — вообще само противоречивое понятие, исключающее как собственность вне государственной собственности, так и понятие частного, отдельного в целом тоталитарном режиме. Именно это различие по отношению к собственности легло в основание и другого существенного признака государственно-монополистического тоталитаризма России по отношению к все той же Германии — принцип планирования, лежащий в основе коммунистической экономики, не мог быть определяющим для все же остающейся «рыночной» экономики национал-социализма.

Действительно общим для всех тоталитарных режимов XX века являлся культ вождя, культ неограниченной власти диктаторов режима, культ партии и шовинистическое восхваление народа, противопоставленного всему миру. Именно эта триада: единство лидера, партии и народа — собственно, и составляют как бы центральное звено в определении тоталитаризма. Тогда как наличие систематических догм, идеала тоталитарного движения не столь существенно, их не было, или почти не было, ни в итальянском варианте фашизма тоталитаристского типа, ни в национал-социализме, где скорее вся вера и все единство сводилось к обожанию, «идолоизации» вождя-фюрера, при почти полном отсутствии развернутой системы катехизации самого движения. По сравнению с социалистическим тоталитаризмом, который как бы перерос даже «тоталитарную триаду» с ее культом вождя, партии и одного, отдельно взятого народа до всемирной экспансионистской идеологии, другие тоталитарные режимы XX века являются

как бы незрелыми, незавершенными, имеющими мозаично-тоталитарную структуру, отдельные тоталитарные фрагменты. Только в СССР мобилизационное единство вождя, партии и народа достигает совершенно иного, отличного от других западноевропейских стран с тоталитарным уклоном, качества, которое во многом несопоставимо с ними ни по глубине террора, развернутого против собственного народа, ни по воодушевлению, охватившему этот же народ. Именно поэтому весьма сомнительным представляется аргумент, который приводит Р.Арон, когда старается отличить тоталитарные режимы Германии и России по дифференцирующему признаку наличия, либо отсутствия «идеала», лежащего в основании террора в этих странах. «Цель террора в СССР — создание общества, полностью отвечающего идеалу, — пишет Р.Арон, — тогда как для Гитлера истребление было важно само по себе»¹⁰³. Именно наличие идеала действительно определило террор и геноцид собственного народа в России, но осуществлялось оно на «пике» мобилизационного состояния общества, общества, ощущающего себя в положении «марширующей колонны», общества «осажденной крепости», того «накала», который никогда не достигался в национал-социалистической Германии. В известном смысле истребление политических противников в Германии, о чем неоднократно говорил сам Гитлер, было «истреблением» по подражанию классическому советскому образцу, было как бы навеяно политическими чистками и процессами 20–30-х годов в России. И этому тоже им приходилось учиться.

А что касается определения тоталитаризма, то совершенно очевидно, что старое понятие определения — «определения как ограничения» — в данном случае просто не работает. В случаях массовых стохастических явлений, а в данном случае как раз мы и имеем дело с таким, необходимо другое понятие «определения» —

дефиниции не через ограничение, негацию, а скорее — через «добавление», по принципу: «и то и другое», взаимодополнительное и взаимоисключающее одновременно. Определение стохастических процессов должно включать в себя «всю массу», возможно, взаимоисключающих процессов, которые не ограничивают друг друга, а взаимодополняют и создают тем самым целостную картину процесса.

ГЛАВА 5 ДИКТАТУРА БЕЗДНЫ

История развития социально-политических изменений распорядилась по-своему. Она не пошла ни путем, намеченным ей пророчествами «отцов-основателей» марксизма, так же как не пошла она и путем, намеченным ей радикальным теоретиком, ревизирующим взгляды основателей учения, руководителем первого тоталитарного государства — В.И.Лениным. Победил Э.Бернштейн и социал-демократия. Победил, а не трагически закончил свое существование капитализм XX века, модернизированный, резко отличающийся от того образа капитализма, каким он предстал в трудах К.Маркса и Ф.Энгельса. Но остался сам интенциональный посыл, стремление к социальной эволюции, который по-своему был решен и в пролетарской революции в России в 1917 году, и в «консервативной революции» в Германии в 20-е годы. В результате этих революций в обеих странах были отброшены как никуда негодные буржуазная демократия и парламентаризм — эти основные, краеугольные камни либеральной теории, и впервые была не только заявлена, но и осуществлена диктатура не только как новая форма государственной власти, но и как «революция», выступившая против буржуазных революций XIX—XX веков, т.е. как контрреволюция, осуществившая прямо и непосредственно, без промежуточных этапов и длительных периодов реформирования и стабилизации.

И совершенно независимо от того, знали или не знали основатели тоталитарных государств об этом, «сценарий» такого революционного захвата власти, ее удержания, т.е. диктатуры, был давно записан, и совсем не там, где его следовало бы искать. Он не только вытекал из логики самой революционной борьбы, но был своеобразно предвосхищен теоретиками консерватизма XIX века. Как отмечает К.Шмитт, анализируя понятие диктатуры в марксистской мысли, еще «...критический 1848 год был одновременно годом демократии и диктатуры. И то, и другое было противоположностью буржуазному либерализму парламентарного мышления»¹⁰⁴. Уже у Гегеля «диктатура», но «диктатура разума» предполагалась как необходимое следствие спекулятивной конструкции действительности, но только в марксизме она становится из метафизической очевидности наукой, не переставая в то же время оставаться «диктатурой разума» — диктатурой радикальной конструкции. «Только сочтя себя научным, — замечает К.Шмитт, — социализм уверовал, что у него есть гарантия безошибочного по существу понимания вещей и смог дать себе право на применение силы»¹⁰⁵. И уже у В.И.Ленина чисто спекулятивная созерцательная конструкция Гегеля принимает следующий вид: «Развитие вперед, — пишет В.И.Ленин, — т.е. к коммунизму, идет через диктатуру пролетариата и иначе идти не может, ибо сломить сопротивление эксплуататоров-капиталистов больше некому и идти иным путем нельзя»¹⁰⁶. При этом сама диктатура пролетариата определяется им следующим образом: «Организация авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления угнетателей...»¹⁰⁷.

Диалектический скачок, прямо выводящий из знания и понимания вещей, право на «насилие», силовое утверждение знания, при этом содержит в себе некий нерациональный остаток, некую не рационализируемую уверенность в необходимости применения силы для

утверждения знания — знания, по существу предвосхищающего будущий ход вещей. Знание становится тем самым иррациональным инстинктом, побуждающим к действию, интуицией и верой в то, что само по себе знание дает право диктата, диктатуры существующих и предстоящих исторических событий. Тем более, что само это знание — знание как «право на насилие» в историческом развитии, становится эсхатологией, что и было заявлено в определении «диктатуры пролетариата» В.И.Лениным, приведенным выше. Ведь уже знаменитые «Апрельские тезисы» ставили задачу захвата власти прямо и недвусмысленно, как призыв к прямому действию, как окончательное решение всех ранее поставленных теоретических задач. Революционная интуиция — вместо замедленного и нерешительного топтания на месте и столь же нерешительного действия «здесь и сейчас», осуществление всего того, о чем мечтали предшественники на протяжении столетий. Не реконструкция некоего, давно ушедшего прошлого, а полное и буквальное осуществление будущего, предвосхищенного будущего, в настоящем путем насилия и прямого действия, исходящего из императивов этого «увиденного» будущего как его буквальное воплощение. Подобная методология социального действия по сути своей — методология неоконсервативного традиционализма, который развил в XIX веке ведущий теоретик консерватизма, как отмечает К.Шмитт, католический консерватор — Доносо Кортес¹⁰⁸.

В борьбе с буржуазным парламентаризмом, буржуазной демократией, как и во многих других случаях, крайности сходятся, независимо от того, знали ли их непосредственные участники друг друга. Как отмечает К.Шмитт: «Для Кортеса радикальный социализм есть нечто более величественное, чем либеральный переговорный процесс, ибо социализм восходит к последним фундаментальным проблемам и дает на радикальные

вопросы решительный ответ, поскольку он имеет свою теологию»¹⁰⁹. Все у них различно: и социальные идеалы, и пути и методы социального развития, но одно общее — неприятие, отказ от буржуазно-либерального парламентаризма, буржуазной демократии и, самое главное, отказ от буржуазно-либеральной половинчатости, нерешительности, непоследовательности и т.д. Мышление В.И.Ленина апокалиптично, оно все в ожидании конца, гибели буржуазного мира, все устремлено к грядущей катастрофе. С маниакальной настойчивостью он неустанно повторяет: «Карфаген должен быть разрушен», буржуазное государство должно быть уничтожено. Именно это — основной лейтмотив «Государства и революции» (1917), работы, написанной накануне революции. «...Все прежние революции усовершенствовали государственную машину, а ее, — пишет В.И.Ленин, — надо разбить, сломать»¹¹⁰. Весь прежний мир — мир буржуазного парламентаризма должен быть уничтожен. А взамен легитимной парламентской республики — «государство равновесия сил», каким он считал правительство Керенского в республиканской России¹¹¹ — экстремистский призыв к революционному насилию, к диктатуре, к своего рода революции против революции, т.е. контрреволюции — революции пролетарской, выступающей против революции буржуазной: «...учение Маркса и Энгельса о неизбежности насильственной революции, — пишет В.И.Ленин, — относится к буржуазному государству. Оно смениться государством пролетарским (диктатурой пролетариата) не может путем «отмирания», а может, по общему правилу, лишь насильственной революцией»¹¹². Ритуальные ссылки на К.Маркса и Ф.Энгельса должны лишь обеспечить преемственность, традицию самим экстремистским взглядам, обосновывающим необходимость диктатуры. Но что же такое — само это государство диктатуры,

что такое диктатура? Это, прежде всего, «организация авангарда угнетенных в господствующий класс для подавления угнетателей».

Но это общее, так сказать, теоретическое положение, а частное, рабочее определение диктатуры пролетариата как формы государства, уточняется В.И.Лениным через весьма характерную интерпретацию: «Все граждане превращаются здесь в служащих по найму государства, каковым являются вооруженные рабочие. Все граждане становятся служащими и рабочими одного всенародного государственного синдиката»¹¹³. В другом месте: «Все общество будет одной конторой и одной фабрикой с равенством труда и равенством оплаты»¹¹⁴. И хотя В.И.Ленин далее оговаривает, что подобная уравнительная плата и «фабричная дисциплина» лишь «ступенька» в дальнейшем развитии. Но чем подобна схема социального устройства общества отличается, скажем, от варианта «прусского социализма, намеченного в свое время О.Шпенглером»¹¹⁵, где тоже не служат и получают «плату» за труд, никак не связанную с количеством и качеством самого труда, а путем распределительного, равного, нормированного разделения продуктов. И Ф.Ницше в свое время писал: «Рабочих нужно учить чувствовать себя подобно солдатам. Уважение, заработок, но не плата. Не должно быть связи между платой и достижением»¹¹⁶. А О.Шпенглер вторил ему: «Прусская идея состоит в беспартийном государственном регулировании заработной платы за каждый род труда, соответственно с общим хозяйственным положением; плата эта планомерно распределяется по профессиям, в интересах всего народа, а не одного лишь отдельного профессионального класса»¹¹⁷.

Что же в данном случае отличает марксистско-ленинский вариант социализма от неоконсервативного традиционализма, развиваемого в работах немецких неоконсерваторов? Да только то, что на страже в каче-

стве формы «диктатуры пролетариата» или «диктатуры пролетариату» стоят вооруженные рабочие — т.е. штыки, которые саму «фабрику», «синдикат» социализма, «фабричную дисциплину» превращают в «лагерь», «лагерную дисциплину» тоталитарного типа. Тем самым при помощи «диктатуры» достигается полное уничтожение всей социальной дифференциации общества, обесценивается труд, который перестает быть критерием, стимулом деятельности, оплата по количеству и качеству труда нивелируется, и деньги, денежное обращение, сам финансовый капитал, обеспечивающий рост и развитие производства, перелив капитала из одной сферы производства в другую, теряют свое значение. Само общество управляется посредством насилия и никакой фиксированный «трудодень», работа за условные галочки «трудодней» не могут дать существенного роста экономики и производства, поскольку уничтожена не только мобилизующая сила финансового обращения капитала, но и основные стимулы «догоняющего развития»; заменены силовым, внеэкономическим принуждением к труду, которое отнюдь не способствует социальной активности. «Диктатура пролетариата» как «инструмент» слома старой буржуазной государственной машины стал в данном случае не только «могильщиком» самого нового становящегося строя социалистического типа, но и превратил его в новое государство — государство тоталитарного типа, которое всю страну, все общество превратило в систему различного рода военизированных лагерей, «шарашек», «зон». Она же стала главным инструментом тоталитаризма в целом.

Весьма характерно, что, анализируя взгляды Сореля на диктатуру, К.Шмитт выделял в свое время две формы диктатуры: «Диктатура есть не что иное, как рожденная рационалистическим духом военно-бюрократически-полицейская машина; напротив, революционное использование силы есть выражение непосред-

ственной жизни, часто дикое и варварское, но никогда не являющееся систематически жестоким и бесчеловечным»¹¹⁸. В России же, как, впрочем, впоследствии и в Германии, диктатура стала не только и не столько выражением «непосредственной жизни», а именно военно-бюрократическим, партийно-номенклатурным средством «бесчеловечным и жестоким» для Государства — Левиафана, этого «зверя из бездны» XX века.

Что же касается государства, которое по определению В.И.Ленина существует как средство для примирения непримиримых классовых интересов¹¹⁹, то оно при такого рода тоталитарном подходе не только не «умирает», но становится самодовлеющей силой, которая обращает всю мощь своей карательной, принудительной машины на все общество в целом. Сминая старые иерархии и порядки, «диктатура пролетариата» весьма своеобразно переинтерпретировала власть и властную структуру буржуазного общества. Эксцентрированная и целиком вытекающая из процесса капиталистического обращения, т.е. всецело обоснованная экономическими факторами, власть в социалистическом и национал-социалистическом варианте тоталитарных режимов определялась внеэкономическими идеологическими механизмами, была централизована, до предела концентрирована в руках носителей идеологии «диктатуры» пролетарского и расового государств. Она явилась главным фактором, определяющим жизнь и смерть подданных, главным критерием, направляющим само социальное развитие общества. Тотальный страх, террор, манипуляция общественным сознанием в качестве идеального средства, своего рода «стратегии напряженности» диктатуры узкой кучки людей, осуществляющих ее, являются идеальным образцом бланкистского захвата власти, который своеобразно подготавливался и с левой социалистической, и с правой — национал-социалистической сторон. Вовсе не случайно, что сам переход от парламентской республики к диктатуре весьма ак-

тивно обсуждался и в консервативной среде, ярким представителем которой является К.Шмитт, и в социалистической среде, лидером которой являлся глава первого социалистического государства В.И.Ленин. В данном случае К.Шмитт выступил комментатором и интерпретатором В.И.Ленина — ведь крайности не только сходятся, но подчас и раскрывают многое из того, что хотелось бы скрыть самим представителям того или иного направления. Слепящий белый свет и чернота ночи не только дополняют друг друга, но и оттеняют, контрастируют друг с другом: одно не существует без другого не только в природе, но подчас и в политике. Похоже, что в том и другом случае — как в России, так и в Германии — идеология диктатуры являлась своеобразной формой «прикрытия», «рационализацией» захвата власти, осуществляемого узкой группой люмпен-интеллигенции, камуфлирующей своекорыстие, узко профессиональные цели идеологией.

В современной истории — истории XX века — вновь повторилась схема государства, намеченная Ф.Ницше, но по отношению к древнейшим, архаическим временам. «Я употребил слово государство, — писал философ в «Генеалогии морали», — не трудно понять, кто подразумевается под этим — какая-то стая белокурых хищников, раса покорителей и господ, которая, обладая военной организованностью и организаторской способностью, без малейших колебаний налагала свои страшные лапы на, должно быть, чудовищно превосходящее ее по численности, но все еще бесформенное, все еще бродяжное население»¹²⁰.

Изменился цвет волос — далеко не белокурых, не господа и повелители, а скорее деклассированные люмпен-интеллигенты сумели в XX веке наложить свои страшные идеологические, организационные и военные «лапы» на дезорганизованное, дезориентированное население государств, находящихся на краю экономичес-

кого кризиса в период крушения, нигилистической переоценки всех устоявшихся ранее ценностей, распада социальных отношений при помощи мобилизации и милитаризации самого общества, при помощи «человека с ружьем» навязали свою «диктатуру» от имени пролетариата, нации, расы и т.д. на численно превосходящее их население, на огромные массы людей, проживающих на территориях, занимающих центральное место в Европе и Азии. При этом и сами эти деклассированные люмпен-интеллигенты в дальнейшем явились своеобразной жертвой своих идеологических предпочтений и убеждений. В их судьбах весьма своеобразно выявилась драматургия и ирония истории, но уже в качестве личной трагедии. Как правило, лишенные «корней и почвы», родного отечества аутсайдеры, литературные поденщики, находящиеся на иждивении ими же созданной партийной кассы, эти партийные лидеры, носители идеологии диктатуры, всю свою деятельность в области общественной жизни строили как форму классового мести *ressentiment*’а, как своеобразную форму «спасения» — «искупительного спасения», пролетарского мессианизма, «арийского возрождения», заложниками которого должны были стать целые социальные слои общества. И не случайно высшим критерием, определяющим для них право на жизнь в будущем, предполагаемом или обетованном обществе, явилась как в России, так и в Германии «логика происхождения». В России это была логика: «генеалогия социального происхождения», принадлежность к классу пролетариата; в Германии: биологически-физиологический расовый фактор — «кровь», как последнее основание, дающее право на жизнь в будущем социальном рае, который обещали построить национал-социалисты. Это, очевидно, и было то самое предвосхищенное еще в апокалипсисе клеймо: «печать зверя», отличающее одного индивида от другого — билет, дающий право на вход-

дение в будущее, которое строили тоталитарные режимы. Социальное происхождение, «кровь» впервые становятся политическим фактором: ориентированная на биологию немецкая философия жизни как бы манифестирует на политической сцене, дав критерии социального и расового отбора. Сама политическая власть как система отношений силы и силовых отношений внутри государства впервые, согласно «логике происхождения», «логике крови», начинает функционировать по законам биологии, политическим содержанием наполняются такие сугубо биологические науки как: «евгеника» — расовый и классовый отбор, понятия «вырождения», «доместификации» — перенесенные из практики животноводов в область социальной политики.

Если проблематика «крови», «зародышевых людей» только намечается, да и то в фантастических романах-утопиях теоретика социализма А.А.Богданова, хотя и фиксирует актуальность темы для марксистов или, по крайней мере, считающего себя таковым, то в теориях немецких национал-социалистов она расцветает и становится центральной идеологической мифологемой режима. Перед теоретиками тоталитарных режимов, противостоящих господствующему либерализму, стояла задача подменить капиталистическое обращение денег на социально-политическое обращение «крови» в обществе, само общество сделав формой социальной флуктуации крови.

Речь идет о полностью развернувшейся в XX веке в тоталитарных режимах, ставших там разновидностью идеологий, концепциях «биовласти», как ее описывает М.Фуко: «Эта био-власть была без сомнения необходимым элементом в развитии капитализма, которое могло быть обеспечено лишь ценою контролируемого включения тел в аппарат производства и через подгонку феноменов народонаселения к экономическим процессам»¹²¹. Не случайно, что и сам фашизм М.Фуко определяет:

«...комбинацией фантазмов крови с пароксизмами дисциплинарной власти»¹²². В другом месте М.Фуко так определяет само это общество, в котором «кровь» становится элементом политики: «Общество крови — я хотел уже было сказать: общество «кровоавости» — общество, где в почете война, где царит страх перед голодом, где торжествует смерть, самодержец с мечом, палач и казнь, общество, где власть говорит через кровь; кровь есть реальность с символической функцией»¹²³.

Стертый, подчас неузнаваемый мир «крови», как реализованный миф социального происхождения — при социализме, в национал-социалистической идеологии приобрел значение государственно утверждаемого принципа. «Евгеническое упорядочивание общества, — пишет М.Фуко, — в совокупности с тем, что оно могло иметь от распространения и усиления разного рода микро-власти под прикрытием неограниченного огосударствления — сопровождалось онейрическим превознесением высшей крови: это последнее подразумевало систематический геноцид других и риск подвергнуть себя самого опасности некоего тотального жертвоприношения»¹²⁴.

Национал-социалистический режим свято выполнял методологический совет, некогда преподанный будущему, Ф.Ницше: «Для всякого высшего света нужно быть рожденным; говоря яснее, нужно быть зачатым для него: право на философию — если брать это слово в обширном смысле — можно иметь только благодаря своему происхождению — предки, «кровь» имеют решающее значение так же и здесь»¹²⁵. И это не случайное замечание философа. В другом месте он так разъясняет: «Есть только благородство рождения, только благородство крови. (Я не говорю здесь о маленькой приставке «Von» или об Альманахе Готта, — примечание для ослов). Когда говорят об «аристократах духа», предполагают нехватку чего-то такого; (как это хорошо известно, именно это любимый термин среди амбициозных евре-

ев). Только дух не делает благородным, более того, должно быть что-то, что облагораживает дух — Что предполагает это? Кровь!»¹²⁶. Именно этот пассаж философа безошибочно выхватывает Генрих Хартле в своей работе, посвященной адаптации взглядов Ф.Ницше к национал-социализму¹²⁷. Однако, и это необходимо отметить, у Ф.Ницше сама проблематика «крови» носит во многом еще только антропологический характер. Она служит формой подтверждения утверждаемого им «аристократического радикализма», и не более того. В целом же философ весьма негативно относится к проблеме обеснованности того или иного «учения», «социального движения», «революции», «крови» — именно наличие ее в качестве аргументации делает само это социальное явление негативным, неприемлемым для философа. Не случайно он писал: «Знаками крови писали они на пути, по которому они шли, и их безумие учило, что кровью свидетельствуется истина. Но кровь — самый худший свидетель истины; кровь отравляет самое чистое учение до степени безумия и ненависти сердец»¹²⁸.

Но иные времена — иные песни. И уже у О.Шпенглера фактор «крови» теряет антропологический характер и приобретает характер «космический» — фактор, противостоящий другому «космическому» фактору современной ему Германии — «фактору денег». Буржуазный «космос» становится ареной агональной борьбы этих двух космических факторов, где «кровь», как это пророчески предполагает О.Шпенглер, в будущем, недалеком будущем, должна одержать победу. Именно этой «победой» завершается цикл мировой истории, и вновь происходит «возрождение» субстанционально обусловленных бытийных механизмов социального бытия. Но это, так сказать, «греза — мечта», пророчество самого О.Шпенглера, его упование как неоконсерватора, традиционалиста, ожидающего в будущем свершения своей мечты¹²⁹. «Теперь, когда политика денег, — пишет

О.Шпенглер, — становится невыносимой, свою судьбу снова «избирают» изначальными средствами кровавого насилия»¹³⁰. В другом месте философ так расшифровывает свое предсказание: «Капиталистическая экономика опротивела всем до отвращения. Возникает надежда на спасение, которое придет откуда-то со стороны, упование, связываемое с тоном чести и рыцарственности, внутреннего аристократизма, самоотверженности и долга. И вот наступает время, когда в глубине снова просыпается оформленные до последней черты силы крови, которые были вытеснены рационализмом больших городов»¹³¹. И как конечный аккорд в этой ожидаемой свершиться утопии: «...начинается последняя схватка, в которой цивилизация принимает свою завершающую форму: схватка между деньгами и кровью... Деньги будут преодолены и упразднены только кровью»¹³².

Как это будет и как уже ближайшее поколение распорядится откровениями философа, ярко показывает «Миф XX века» А.Розенберга. Но значит ли это, что сама проблема крови как субстанции фактора биологически понятой жизни, столь характерной для неоконсервативной немецкой философии, чужда представителям русской социалистической мысли того времени? Отнюдь нет. И, скорее, наоборот. Только в России, и в частности, в работах уже упоминавшегося А.А.Богданова «фактор крови», «кровь» ложится в основании своеобразной теории «товарищеского обмена жизнями» не только в идейном, но и в физиологическом существовании»¹³³.

В обществе, где, как тогда казалось, решены проблемы борьбы, «денег и крови» путем Октябрьской революции 1917 года и вот-вот будут решены все остальные социальные и социально-политические проблемы, «фактор крови» закладывается в теорию палингенезиса — товарищеского палингенезиса — когда как бы впервые, наяву обретается «бессмертие», «жизнь вечная», а

жизнь, ставшая столь прекрасной превращается в вечность — прекрасную вечность длящегося бытия. Обмен, по преимуществу, от молодых — к старым и наиболее заслуженным. Вот как описывает этот обмен в своей мечте-утопии А.А.Богданов, кстати, врач и основатель Станции переливания крови в России того времени: «Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами, из которых каждое должно передавать другому массу условий повышения жизни... При соблюдении всех предосторожностей это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани»¹³⁴. Не случайно, что и сам автор этого утопического проекта погиб, на себе поставив опыт подобного обретения бессмертия. Нечто подобное случилось и с немецкими представителями философии жизни — биологизированной жизни — поставившими такой же суицидальный опыт, но не только над собой, но и над всем немецким народом, ввергнутым в бездну национал-социализма.

Но как в России, так и в Германии получилось одинаково: метили в индивида, желая обрести прижизненное бессмертие, а попали в государство: и Германия, и Россия стали заложниками этой своеобразной «философии крови», затронувшей оба тоталитарных государства. И хотя в России эта «философия» была «рационализирована», прикрыта лицемерными лозунгами «классовой борьбы», которая разгорается по мере углубления строительства социализма, лозунгами пролетарского интернационализма и пролетарской солидарности трудящихся всех стран, но социальный геноцид собственного народа, депортация целых социальных слоев, классов, народов приобрела характер, грозящий поголовным истреблением — «товарищеским обменом жизнями», — в котором само существование общества было поставлено под вопрос. Жизнь, взятая в биологическом смысле,

стала для многих своеобразной функцией от господствующей идеологии, от соучастия в «товарищеском обмене жизнями» — круговой «омофагии».

Нечто подобное происходило и в Германии, но там сам принцип круговой кровавой омофагии не только не скрывался и не «рационализировался», а прямо заявлялся как основной базисный принцип идеологии национал-социалистического движения, как отмечает «официально» признанный идеолог движения А. Розенберг во введении в свой основной «Краткий курс» — онтологию «национал-социалистического движения» — миф XX века: «Кровь, которая умерла, начинает оживать. В ее мистическом символе происходит новое построение клеток души германского народа. Современность и прошлое появляются внезапно в новом свете, а для будущего вытекает новая миссия. История и задача будущего больше не означают борьбу класса против класса, борьбу между церковными догмами и догмами, а означают разногласие между кровью и кровью, расой и расой, народом и народом»¹³⁵. Задуманная, по признанию автора, еще в 1917 году, что весьма знаменательно, и, в основном, законченная в 1925 году, уже в третьем издании 1930 года книга завершается следующими словами: «Этот внутренний голос требует сегодня, чтобы миф крови и миф души, расы и понятия «Я» народа и личности, крови и чести, один, совершенно один и бескомпромиссно проходил через всю жизнь, нес ее и определял»¹³⁶.

И если в России «миф о социальном происхождении», а в Германии «миф крови» начинают всецело определять саму логику социального развития, логику «насилия» внутренней и внешней политики, то, собственно, именно они и становятся тем самым своеобразным «знаком зверя», отличающих самих граждан этих тоталитарных империй, новых, невиданных до этого разновидностей Левиафана XX века.

Собственно логика социального и биологического происхождения в данном случае хотя и отличаются друг от друга, но весьма несущественно, тем более что на практике, социальной практике, обоих государств они почти всегда сливались и нарочито взаимопереплетались, и во многом определяли сам характер той самой «диктатуры», которая и обусловила тоталитаризм для этих стран. Пути от парламентарной республики к диктатуре, а в обеих странах были этапы буржуазно-парламентарного правления, может быть, и очень короткие, оказались путем в бездну первобытного варварства с его культурой насилия, поисков «козлов отпущения» — так называемых «врагов народа», «фармаков» — с помощью которых укреплялся режим тотального насилия, слежки и контроля, осуществленным в обеих странах. И в России, и в Германии вновь возобновились «ритуальные убийства», поголовные чистки всего населения, в которых главным дифференцирующим признаком стала первобытная, архаическая логика социального происхождения, т.е. скрытая «логика крови» — ксенофобия, первичное, матричное подразделение всего населения по принципу «свой — чужой».

Тотальный террор как форма стратегии напряженности — логика «осажденной крепости», отовсюду ожидающей нападения, надолго становятся единственной формой социальной политики этих режимов. Страх, подозрительность, всеобщая ненависть, «ressentiment» становятся основным господствующим настроением в обществе, которое тщетно пытается прикрыть их натужной маршевой барабанной дробью государственного оптимизма и показной радости творимой ими оптимистической трагедии, являющейся, скорее, на «практике» трагедией оптимизма, в котором главным героем трагедии, ее протагонистом, является не Дионис, а скорее его антагонист, раздираемый менадами, сам оптимизм — оптимизм социальных иллюзий и упований

индивидов, разыгравших эту трагедию. Не случайно, что и сами создатели этой «оптимистической трагедии» — неоконсерваторы — вовлекаются в ее действие и тоже, согласно законам этого «кровавого» жанра становятся ее жертвами, разрываемыми на части в процессе каннибалистского «спарагмоса» и «омофагии» режима.

Заключение

Двадцатый век завершился. И почти на рубеже своего свершения, в его 80–90-е годы распался, словно его никогда и не было, последний в этом веке тоталитарный режим, просуществовавший в России почти 70 лет.

Россия явила миру урок — урок тоталитаризма, под гнетом которого просуществовала почти столетие. Двенадцатилетний период такого же типа политического режима в Германии (1933–1945) лишь своего рода подражательная пародия, принявшая, правда, чудовищные формы и завершившаяся судом народов на Нюрнбергском процессе 1945 года. В этой пародии все было как бы всерьез: и государственное насилие в целях догоняющего развития, реконструкции общества, и национализм, доведенный до абсурда геноцида, переходящего в омницид, и милитаризация экономики, и мобилизация общества в процессе индустриализма, авторитаризм тоталитарного управления, военная экспансия, захлебнувшаяся в самом центре собственного государства, ставшего как бы «системным воплощением зла» для многих народов, и политическая диктатура немногих, репрессивная и антидемократичная по своей сути, как во всякой пародии шаржированная до предельно гротескных форм, персонифицированная в образе фюрера, кончающего жизнь самоубийством — пародия исчерпала себя буквально, всерьез, до выстрела в голову пародиста.

«Дионисийский фестиваль», начавшийся в Германии в 1933 году, завершился тем, что главный герой — протагонист — был изловлен, герой стал жертвой собственного безумия, увлекшего в бездну падения и гибели всю нацию и миллионы представителей других наций. Но если на нем круг замкнулся, то в России этот процесс продолжался еще почти полвека, хотя это, кстати сказать, попутное замечание. Давая оценку — своего рода позднее признание «революции нигилизма» — один

из участников «дионисийского фестиваля» в его самом начале, Г.Раушнинг так оценивает режим, существовавший в Германии того времени, и самих людей, оказавшихся волею судеб участниками национал-социалистических оргий: «Ничто так сильно не ужаснуло меня, как ощутимая перемена, происшедшая с моими знакомыми и друзьями. Я думал, что всех их хорошо знал, когда они были очарованы нацистской политикой. Это добропорядочные люди, такие, какими на самом деле должны быть люди, казалось, были охвачены новой страстью... Они приобрели новые привычки, завели позорные их знакомства, стали властными... и в конце концов сделали низкими отвратительными существами, которые ни о чем больше не думают, как о пытках, грабеже и убийствах тех, кто слабее их»¹³⁷. И это только одна из метаморфоз, которую сам Г.Раушнинг пытается объяснить некоей формой коллективной шизофрении, инфицировавшей нацию, хотя и отмечает, что «в деятельности нацизма присутствует то, что не так четко представлено в других тоталитарных режимах. Именно в нацизме мы видим истинный характер зверя из бездны, характер, который так ясно смог увидеть Гоббс и на который он пытался указать, когда давал своему абсолютистскому государству имя Левиафана»¹³⁸. И самая, пожалуй, главная характеристика этого режима, его, так сказать, «метафизическая сущность»: «...в нацизме раскрывается антигуманитарный и антихристианский характер всего предприятия по созданию нового мирового порядка, основанного внешне на принуждении и рациональном планировании, который таким образом обеспечивает человечество безопасностью и здоровым прочным рационально спланированным порядком, но в действительности вовлекает людей в такое существование, в котором они находятся в области соблазна беззакония»¹³⁹. Говоря языком религии, отказываясь от «божественной благодати», от провидения, веду-

шего человечество по пути истории, так сказать, пережив в себе «смерть бога», о которой вещал Ф.Ницше еще в конце XIX века, тоталитаризм в России и Германии в начале XX века явил миру то, чем может стать «рационально планируемый космос», построенный на «революции инстинкта», собственно, и обнажившего «звероподобную» сущность режима.

Являясь своеобразной попыткой заполнения, как в области социальной, так и политической, духовного вакуума, возникшего в период между двумя мировыми войнами XX века, попыткой преодоления перманентного духовного кризиса, нигилизма, попыткой перевода пассивной формы нигилизма в его активную, экстатическую форму, тоталитаризм как раз и явился той «бездной ужаса и духовного падения», избежать которую и хотели неоконсерваторы XIX века в России и Германии. Именно о нем пророчествовали, его предчувствовали, предвосхищали и именно от него прописывали человечеству «горькие», самые горькие лекарства, которые должны были предотвратить, удержать, предохранить человечество от надвигающейся беды К.Н.Леонтьев и Ф.Ницше. Но тщетно: сами лекарства оказались средствами, с помощью которых создавалось это государство — Левиафан, а сами они — исцелители — оказались его своеобразными «предтечами». И то, от чего предостерегали, и случилось, подчас с точностью до написанной буквы, а не только, так сказать, в духе самого пророчества. С брутальной четкостью исполнилась древняя ритуальная схема дионисийских мистерий: антагонист — противник бога, герой, восставший на борьбу с ним, в конечном итоге становится его протагонистом; пророк, указывающий на бездну, которую видит пока только он один, оказывается в этой мифологической трагедии проводником в нее. Древнегреческий Пенфей, Орфей, пытающийся сдержать безумие

эпоптов Диониса, сам становится его вдохновенным поклонником или, по крайней мере, так воспринимается другими участниками мифической оргии¹⁴⁰.

Все творчество неоконсерваторов — традиционалистов, а, собственно, ими и являлись в последней трети XIX века и К.Н.Леонтьев в России, и Ф.Ницше в Германии, наполнено поистине апокалиптическими предчувствиями и пророчествами грядущей беды. Так например, К.Н.Леонтьев, предчувствуя наступление в России в ближайшем будущем либеральной, столь отрицаемой им цивилизации, воспринимаемой им как пришествие антихриста, обращается, взывает к «господам земли» будущего: «Чтобы русскому народу действительно пребыть надолго тем народом «богоносцем», от которого ждал так долго наш пламенный народолобец Достоевский — он должен быть ограничен, привинчен отечески и совестливо стеснен»¹⁴¹. В свою очередь, Ф.Ницше тоже из неоконсервативных побуждений «прописывает» «горькое лекарство», когда призывает консерваторов своего времени не только не противиться развитию, но идти дальше в этой попытке лечить грядущий упадок упадочными средствами, именно так он и говорит: «Нечего делать: надо идти вперед, хочу сказать шаг за шагом далее в *decadence* (вот мое определение современного «прогресса»...). Можно преградить это развитие и тем запрудить самое возрождение, накопить его, сделать более бурным и внезапным — больше сделать нельзя ничего»¹⁴². И так оно и вышло в дальнейшем: точно не только «по слову» пророчеств каждого из этих провидцев будущего, но и «по духу» — Россия была ограничена и отнюдь не по-отечески привинчена и стеснена, а в Германии начался такой разгул *decadens'a*, такая «оргия», о размахе которой вряд ли помышляли сами «пророки» и визионеры в XIX веке.

Являясь веком масс, веком массового общества, XX век отличается от всех предыдущих времен своей масштабностью и грандиозностью самих социальных

процессов. Именно в XX веке вакуум нигилизма в обеих странах, его теоретическая и мировоззренческая пустота, были заполнены антигуманными и, по сути своей, неоязыческими доктринами национал-социалистов и большевиков, теориями социал-дарвинистов, примитивной социальной евгеникой и откровенно ксенофобическим антисемитизмом. И социальная цена этого «заполнения» для человечества была столь же чрезмерно высокой — унесшей жизни миллионов в последней войне тоталитарных режимов России и Германии, вступивших между собой в смертельную схватку. Создавая свои антиутопические проекты желаемого социального будущего как бы из будущего, опираясь на свои визионерские проекты будущего, которому только еще предстоит воплотиться и К.Н.Леонтьев, и Ф.Ницше как бы предвосхищали и многие социальные устои будущего общества, в котором как бы будут изначально исключены социальные процессы, ведущие к мировому катаклизму, к нежелательному для них скольжению человечества в «бездну» либерализма и социальной революции. Речь шла о создании модели «стационарной цивилизации» — «европейской формы буддизма», как о ней говорил Ф.Ницше. Это должен был быть «третий путь», лежащий где-то посередине между кризисным развитием прошлого и нежелательным развитием будущего. Ни прежний монархический феодализм, ни будущий буржуазно-парламентский либерализм, но «третий путь» устойчивого стационарного развития — развития, согласно разрабатываемой Ф.Ницше концепции «вечного возвращения того же самого» и «воли к власти», а также некоей православно-ортодоксальной монархии в духе вновь возрожденного «византизма» К.Н.Леонтьева. Оба «конгениальных» мыслителя считали, что им дано это «право» — социальное проектирование будущего, — поскольку сам факт такого «видения» уже как бы несет в себе необходимость его применения. Так на-

пример, К.Н.Леонтьев писал, очевидно соотнося это со своей пророческой миссией: «Высшая сверхчеловеческая логика истории, ее духовная телеология нередко в том именно и видна, что для человеческой логики большинства современников тех или других исторических явлений — связи прямой между этими явлениями не видно. Многим она узнается поздно; немногим открывается раньше»¹⁴³. Тогда как Ф.Ницше с известной долей мегаломании прямо заявлял в «Ессе Ното»: «В предвидении, что не далек тот день, когда я должен буду подвергнуть человечество испытанию более тяжкому, чем все те, каким оно подвергалось когда-либо, я считаю необходимым сказать, кто «Я»¹⁴⁴. В другом месте: «Ибо когда истина (имеется в виду учение самого Ф.Ницше — А.М.) вступает в борьбу с ложью тысячелетий у нас будут сотрясения, судороги землетрясения, перемещение гор и долин, какие никогда не снились. Понятие политики совершенно растворится в духовной войне, все формы власти старого общества взлетят в воздух — они покоятся все на лжи, будут войны, каких еще никогда не было на земле. Только с меня начинается на земле большая политика»¹⁴⁵.

Видимое же противоречие между как, казалось бы, неумолимой логикой становления либерализма и предполагаемой ими неоконсервативной антиутопией решалось по-своему и удивительно просто. Являясь «идеологами», людьми, которые свято верят, сколь бы странно это не казалось, скажем, по отношению к Ф.Ницше — в силу слова, убеждений, мыслей, которые, по их мнению, правят миром, неоконсерваторы первой волны в качестве ответа на это противоречие, отмеченное выше, в качестве средства, которое перевернет мир, предполагают себя, свои книги, высказанные в них мысли и мнения. И в этом они по-своему совпадают с представителями социалистического направления, которое тоже всю силу своих убеждений и аргументов черпают не из ло-

гики развития объективной реальности, а из предполагаемых в будущем картин желаемого социального развития. Идеи становятся силой, овладевая массами — вот общий тезис того и другого направления, и задача лишь состояла в том, чтобы сами эти идеи сделать доступными массам путем не только своеобразного прозелитизма, но и широкого, массового агитирования. А это может произойти, только когда сами массы испытывают воздействие от последствий либерализации общества и сами неоконсервативные и социальные идеи станут востребованными, станут как бы созвучны предлагаемым обстоятельствам, явятся, пусть и «ложными», но ориентирами социального развития.

Именно это созвучие идей и социальных устремлений, ожиданий и настроений и делает их социальной силой, способной изменить ход развития истории, даже в том случае, казалось бы, неумолимого движения в противоположную сторону. Этому немало способствовал и кризис — кризис либеральных идей, господствующих в конце XIX — начале XX века, отсутствие новых социально ориентированных либеральных инициатив в период после Первой мировой войны XX века и широкая пропаганда неоконсервативной идеологии, принятая в обеих странах. Особенно способствовали этому неоконсерваторы второй волны, активно использующие идеи «отцов-основателей» неоконсерватизма: К.Н.Леонтьева и Ф.Ницше — в качестве своего рода методологии для своих собственных штудий.

Революция 1917 года в России и сравнительно небольшой период Веймарской республики в Германии, ноябрьская революция в Германии 1918 года резко активировали интерес к неоконсерватизму, став даже теоретическим основанием «консервативной революции» в этой стране. Работы О.Шпенглера, М.Ван ден Брука, К.Шмитта, Э.Юнгера и т.д. по-своему адаптировали усвоение идей неоконсерватизма XIX века к нуждам

XX века. Если, например, Ф.Ницше не был немецким националистом, сам национализм XIX века в Германии, объявляя формой национального невроза, но при этом говорил о превосходстве рас, то в немецком национал-социализме, где расизм стал господствующей доктриной, а теория превосходства немецкой расы стала основной мифологемой государственной идеологии, прямо связываемой с творческим наследием немецкого неоконсерватора. Ф.Ницше не был антисемитом и, скорее, яростно нападал на современную ему немецкую культуру за ее ксенофобический, звериный антисемитизм, но при этом вводя само понятие *ressentiment*'а в качестве объяснительной гипотезы христианства и революционных социальных явлений современности, полностью выводил их из противопоставления иудейской и арийской философии в качестве основного лозунга антисемитизма в национал-социализме.

Изменившееся время по-своему переформулировало, реинтерпретировало взгляды и идеи, существовавшие задолго до этого. Второе поколение, «вторая волна» неоконсерваторов во многом изменила свое отношение к существующей современности и вместо ее полного отрицания, неприятия для себя этой действительности, как это было у «отцов-основателей», дистанцировавшихся от нее, неоднократно подчеркивающих свое отрицательное к ней отношение, «вторая волна» наоборот целиком и полностью пошла на сближение с господствующей властью, услужливо адаптировала идеи предшественников к нуждам текущей современности, к нуждам «злости дня». Проблема состояла не в том, чтобы сохранить «пафос дистанции» от власти, как это делали «отцы-основатели», а скорее наоборот — в том, чтобы не остаться в тени, не остаться незамеченными властью. Создаются «гибридные» работы, в которых идеи неоконсерватизма сопрягаются с социализмом; неоконсерватизм предстает в облики новой «про-

летарской» идеологии, неоконсерватизм в себе как бы несет примирение стихии народного протеста и бюрократической диктатуры. Наиболее ярко в этом проявились такие крупнейшие неоконсерваторы Германии того времени, как О.Шпенглер, Т.Манн, Э.Бертрам, Э.Юнгер и К.Шмитт. Три первых неоконсервативных мыслителя уже к 1919 году создают свои программные произведения, в которых как бы было уложено их неоконсервативное видение мира, своеобразно вбирающее в себя социалистическую идею и весь предшествующий консервативный «пруссский» опыт: это и «Прусская идея и социализм» О.Шпенглера (1919), и «Размышления аполитичного» Т.Манна (1918), и «Ницше» Э.Бертрама (1918). Все они поданы на конкурс, объявленный «Архивом Ницше», возглавляемым сестрой и душеприказчиком философа — Е.Ферстер-Ницше, к тому времени вдовой самого известного антисемита Германии конца XIX века — Б.Ферстера. Работы этого «Архива», собственно, и подготовили прото-фашистскую версию философии Ф.Ницше, оказали существенное влияние на феномен «идолизации» самого философа в культурной атмосфере Германии 20–30-х годов.

В свою очередь именно эта «идолизация» немецкого неоконсерватора в Германии в России «табуировала» философию Ф.Ницше, что, однако, не означало, что идеи немецкого иррационалиста, хотя бы под видом философии «невидимого героя» не оказывала своего влияния на представителей так называемого «ницшеанского марксизма»: А.В.Луначарского, А.М.Горького, А.А.Богданова и т.д. — крупнейших представителей социалистической культуры того же периода 20–30-х годов XX века.

И если для немецких неоконсерваторов центральной стала тема соединения, мозаичного вкрапления, симбиоза традиционалистского неоконсерватизма с социализмом, но очищенным, препарированным «по-

пруски», то в России, с ее относительно малой долей пролетариата, отсутствием высокоиндустриальной промышленности, отсутствием демократических и либеральных институтов, такой темой явилась объединяющая всю активность большевистского правительства мобилизационная индустриализация общества в качестве основной движущей силы социального прогресса. И средством для такого рода мобилизации, средством, в котором «ленинизм», как социализм «в одной отдельно взятой стране», перерастает в теорию, единое силовое движение к мировому революционному процессу, явилось в качестве «эзотерической» идеологии для правящей элиты: все то же своеобразно понятое «нищестанство» и, в частности, концепция «воли к власти», усвоенная через псевдоромантические образы литературных героев А.М.Горького (образы: Данко, песен о Соколе, о Буревестнике), романов-утопий А.А.Богданова и других так называемых «пролетарских» писателей. Интересна сама «избирательность вкуса», само «избирательное средство», которое проявили неоконсерваторы этих двух стран. Немецкие неоконсерваторы второй волны и, например, такой ее представитель как Мелер Ван ден Брук переводит Ф.М.Достоевского и, в частности, «Дневник писателя», в котором как бы концентрированы и антисемитские, и евразийские высказывания русского мыслителя. Тогда как А.Розенберг, хотя и вывозит из России «Протоколы сионских мудрецов», скомпилированные С.Нилусом, но крайне скептически оценивает историю самой России, ее евразийские теории и возможность их реализации, без привнесения организующего арийско-германского начала, и, в частности, оценивает Ф.М.Достоевского, которого рассматривает через оценки позднего Ф.Ницше. «Достоевский, — для А.Розенберга — это увеличительное стекло русской души, через его личность можно понять всю Россию в ее трудном для объяснения многообразии»¹⁴⁶. Так ка-

кой же ее видит идеолог национал-социализма через призму личности Ф.М.Достоевского, рассмотренную сквозь аксиологическую переоценку ценностей, усвоенную им от Ф.Ницше?¹⁴⁷. «Человечным с этого времени считалось, — пишет А.Розенберг, — все больное, сломленное, загнивающее. Униженные и преследуемые стали «героями», эпилептики — проблемами глубокого человеколюбия, такими же неприкасаемыми, как юродивые обленевшиеся нищие Средневековья или Симон Стилитес»¹⁴⁸. И особенно характерна оценка А.Розенберга революции 1917 года в России: «В 1917 году с «русским человеком» было покончено. Он распался на две части. Нордическая русская кровь проиграла войну, восточно-монгольская мощно поднялась, собрала китайцев и народы пустынь; евреи, армяне прорвались к руководству и калмыко-татарин Ленин стал правителем»¹⁴⁹. Эту точку зрения завершает следующий пассаж: «Из самоуверенной от беспомощности любви прошлых лет получился эпилептический припадок, проведенный в политическом плане с энергией умалишенного. Смердяков управляет Россией»¹⁵⁰.

Именно такой взгляд на русскую революцию 1917 года со стороны неоконсерваторов Германии определил и почти весь комплекс отношений с социалистической идеологией в национал-социализме, хотя и оставил неизменным само направление движения в сторону «третьего пути» — пути, в котором, как отмечает Э.Юнгер: «...отождествляют понятия «консервативный» и «революционный»...»¹⁵¹, собственно, и определившее саму «консервативную революцию» как революцию против революции, в том числе и против революции в том виде, в каком она произошла в России.

Германская революция мыслилась как «поворот», «обращение вспять», назад, к древним испытанным средствам и способам жизнедеятельности. «Мы призываем к решительному безусловному, интегральному возврату, —

пишет Ю.Эвола, — к нордически-языческой традиции»¹⁵². В другом месте он восклицает: «Анти-философия, анти-гуманизм, анти-литература, анти-религия — таковы предпосылки»¹⁵³. И символом такого возвращения становится вновь Ф.Ницше, но «правильный», как бы «вновь понятый», очищенный от напластований либеральных интерпретаций. «Освободите учение Ницше, — восклицает Ю.Эвола, — от его натуралистической стороны, рассматривайте «сверхчеловека» и «волю к власти» истинными лишь как сверхбиологические и сверхъестественные ценности и это учение сможет стать путем для многих, который приведет к великому океану — к миру солнечной универсальности великой нордическо-арийской традиции, с высоты которой ясно ощущается абсолютная нищета, абсолютная незначимость и абсолютная бессмысленность этого мира закованных и одержимых»¹⁵⁴. Тем самым Ф.Ницше становится в центр неоконсервативной традиции, в центр консервативной революции вообще, на него ссылаются и О.Шпенглер в своем «Закате Европы» и Э.Юнгер, который фигуру своего «Рабочего» строит как своеобразный «гештальт» сверхчеловека Ф.Ницше, с помощью которого как бы вытесняется, свержается «идол» европейской социал-демократии — К.Маркс. Хотя впоследствии Э.Юнгер неоднократно указывал: «Антимарксистское толкование я должен отвергнуть. Маркс укладывается в систему «Рабочего», однако, не заполняет его целиком»¹⁵⁵. В другом месте: «Я-то как раз хотел бы избегать того, чтобы из меня делали антимарксиста, я не укладываюсь в марксову систему, но зато он, пожалуй, укладывается в мою»¹⁵⁶. Но это поздние признания — признания 70-х годов XX века, а в 1932 году, когда вышла книга, она воспринималась в качестве одного из основных трудов «консервативной революции» в Германии.

Весьма характерно, что в России после 1917 года большевистский режим, оказавшийся историческим наследником последней оставшейся европейской империи (Австро-Венгрия завершила свое существование в 1914 году. Османская империя — в 1918), наследником монархической власти после неудавшейся революции в Германии (1918), уже в 1921 году на Коминтерновском съезде народов Востока (1921 г., Баку) отказалась от идеи мировой социалистической революции в пользу построения социализма в одной, отдельно взятой стране. Отсюда появилось стремление к усилению роли государства и государственного строительства, укрепление государственных структур как формы воссоздания Российской империи. И так как революция 1917 года, несмотря на все провозглашенные ею лозунги, являлась отнюдь не пролетарской, а скорее — буржуазно-демократической, доделывающей то, чего не смогла сделать февральская революция, но проведенная как периферийная и полупериферийная буржуазно-демократическая, национально-освободительная революция, в которой хотя и имеется пролетариат, но он численно невелик и его формирование — дело далекого будущего, хотя он и структурирован в партию, партия и проводит революцию. И вся так называемая «диктатура пролетариата», представляющая собой не что иное, как форму террора абсолютной государственной машины на тотально разобщенный народ. И формой такой диктатуры явился «страх и террор», насаждаемый при помощи репрессивных органов: ГПУ и ВЧК, собственно, НКВД и КГБ, в силу их исторической преемственности, и партии — КПСС, осуществляющей центральный и основной курс на индустриализацию и догоняющее развитие. При этом само понятие догоняющего развития социализма по отношению к тому строю, существование которого как бы предполагается преодоленным, весьма абсурдно и парадоксально, как форма

воплощенного противоречия, в котором догоняют как раз то, что считают уже преодоленным. Несовпадение провозглашенных теоретических лозунгов и реальности, собственно, и породило ситуацию «осажденной крепости», мобилизационного «железного занавеса», которым защищалась диктатура партии, основанная на репрессивном подавлении всякого «инакомыслия» и свободолюбия. И в таком виде режим репрессивно-карательной системы просуществовал почти весь XX век, вплоть до 1991 года, когда снятие этого «занавеса» ментально взорвало режим изнутри, несдерживаемый более навязанными ему «скрепами» и т.д.

В отличие от России, национал-социализм просуществовал в Германии всего 12 лет и существенно не смог, то ли в силу демократических традиций, то ли в силу краткости существования, оказать влияние на государственную структуру, на сознание гражданского общества, хотя и весьма пагубно сказался на уровне самооценки и переоценки ценностей послевоенной Германии.

И тем не менее все же тоталитаризм России, первой страны, сформировавшей авторитарно-тоталитарный режим в XX веке, явился для всех военно-политических, авторитарно-харизматических диктатур, существовавших в течение столетия, классическим примером, образцом для подражания, копирования его социальных структур.

Являясь веком масс, XX век создал и соответствующие массам формы коллективной манипуляции, которые, апеллируя к коллективному бессознательному народа, делали народ бессознательным массовым коллективом, удобным для социальных манипуляций. Политические партии, выстроенные по образу марширующих военных колонн, лишь выполняют в тоталитарном режиме достаточно эффективную форму организации и управления, сами при этом выступая орудием для манипуляции сознанием, манипуляции коллективным бессознательным. Как справедливо отмечает Г.Раушнинг:

«Все, что осуществляют большевизм и нацизм, исходя из собственной концепции государства, есть совершенствование абсолютного механизма власти новыми способами, с учетом новых условий, вызванных техническим прогрессом и подъемом масс»¹⁵⁷.

Примечания

- 1 *Екклезиаст* 3:1.
- 2 *Устрялов Н.В.* Итальянский фашизм. М., 1999. С. 191.
- 3 *Устрялов Н.В.* Германский национал-социализм. М., 1999. С. 130.
- 4 *Бердяев Н.* Философия неравенства. М., 1990. С. 27.
- 5 *Мочкин А.Н.* Парадоксы неоконсерватизма. М., 1999.
- 6 *Юнг К.Г.* Диагностируя диктаторов. (Интервью, взятое у К.Г.Юнга Х.Никербокером в 1938 году) // *Одайник В.* Психология политики. Ювента, 1996. С. 348.
- 7 *Бердяев Н.* Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 7.
- 8 *Ленин В.И.* ПСС. Т. 28. С. 181.
- 9 *Ницше Ф.* Воля к власти. Refl — book. М., 1994. С. 33.
- 10 Там же. С. 35.
- 11 Там же. С. 33.
- 12 *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. М., 1990. С. 618.
- 13 *Леонтьев К.Н.* Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 273–274.
- 14 Там же. С. 274.
- 15 Там же. С. 681.
- 16 Там же. С. 684.
- 17 *Шмитт К.* Политическая теология. М., 2000. С. 246. «От состояния войны, в котором люди соглашаются участвовать и которое точно выражается в мифах».
- 18 Там же. С. 254–255.
- 19 Там же. С. 252.
- 20 *Розанов В.В.* Уединенное. М., 1998. С. 584.
- 21 Там же. С. 585.
- 22 *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 11.
- 23 Там же. С. 12.
- 24 Там же. С. 700.
- 25 *Ницше Ф.* Воля к власти. Refl — book. С. 144.
- 26 Там же. С. 78.
- 27 Там же. С. 150.
- 28 *Шпенглер О.* Закат Европы. М., 1998. С. 491.
- 29 Там же. С. 466.
- 30 *Ницше Ф.* Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 37.
- 31 Там же. С. 35.
- 32 Там же. С. 668.
- 33 *Шпенглер О.* Прусская идея и социализм. Берлин, Б.г. С. 27. Подробнее см.: *Мочкин А.Н.* «Кровь и почва» прусского социализма О.Шпенглера // *Филос. науки.* 1995. № 5–6. С. 253–262.

- 34 Шпернгер О. Прусская идея и социализм. Берлин, Б.г. С. 54.
- 35 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 495.
- 36 Мочкин А.Н. Немецкий национал-социализм: третий путь // Социализм в перспективе постиндустриализма. М., 1999. С. 144–174.
- 37 Ницше Ф. Воля к власти. Relf — book. М., 1994. С. 215.
- 38 Там же. С. 216.
- 39 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 379.
- 40 Там же. С. 379–380.
- 41 Там же. С. 396.
- 42 Там же. С. 396.
- 43 Там же. С. 444.
- 44 Там же. С. 444.
- 45 Там же. С. 459–460.
- 46 Шмитт К. Политическая теология. М., 2000. С. 236–247.
- 47 Там же. С. 247.
- 48 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 460.
- 49 Там же. С. 377.
- 50 Фрейд З. Я и Оно // Фрейд З. Труды разных лет. Кн. 1. Тбилиси, 1991. С. 77.
- 51 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 12.
- 52 Леонтьев К.Н. писал: «Я берусь даже определить с приблизительной точностью эту уже близкую точку поворота. Она должна совпасть со следующими двумя событиями: социалистическим бунтом в Париже, более удачным, чем прежние, и взятием славянами Царьграда, volens-nolens. Значение Европы и Парижа будет с той минуты умаляться; значение Босфора и вообще чего-то другого расти» (Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 274).
- 53 Там же.
- 54 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 494.
- 55 Там же. С. 538.
- 56 Леонтьев К.Н. Записки отшельника. М., 1992. С. 117.
- 57 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. М., 1990. С. 462.
- 58 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 480.
- 59 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 533.
- 60 Нилюс С. Великое в малом. СПб., 1996. С. 332–333.
- 61 Лосев А.Ф. В рецензия ОГПУ // Так истязуется и распадается истина... // Старая площадь Вестник архива Президента Российской Федерации. В составе журнала Источники. Документы русской истории. 1996. № 4. С. 121–122.
- 62 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 537.
- 63 Ленин В.И. ПСС. Т. 17. С. 127.

- 64 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 1. М., 1990. С. 446–447.
- 65 Там же. С. 446.
- 66 Поппер К. Открытое общество и его враги. Т. 1. Чары Платона. М., 1992. С. 242.
- 67 Там же. С. 351. См.: Примечания К. Поппера по поводу Ницше.
- 68 Леви-Стросс К. Структурная антропология. М., 1983. С. 186.
- 69 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. С. 173.
- 70 Там же. С. 173.
- 71 Хайдеггер М. Время и бытие. М., 1993. С. 69.
- 72 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 552.
- 73 Там же. С. 552–553.
- 74 Устрялов Н.В. Итальянский фашизм. М., 1999. С. 180–181.
- 75 Шпенглер О. Прусская идея и социализм. Берлин, Б.г. См. так же: Мочкин А.Н. «Кровь и почва» прусского социализма О. Шпенглера // Философские науки. 1987. № 5–6.
- 76 Приведем лишь некоторые работы современных исследователей: Love Nancy S. Marx, Nietzsche and modernity. N.Y., 1986; Miller J. Some implication of Nietzsche thought for Marxism // Telos (Fall 1978) 34. P. 22–41; Bathride D. Paul Breines. Marx und/oder Nietzsche in R.Grimm. Jost Hermann (eds) Karl Marx und Friedrich Nietzsche/ Konigstein/Fs/Athenenm/Taschenbucher. 1978. S. 119–135; Adward A. A Note on the Uniti of theory and Practice in Marx and Nietzsche. Political theory. August 1975/(3). P. 305–316. /Klein G/Z/ Nietzschean Marxism in Russia. Boston. College. Studies in Philosophy V. 11. 1969. P. 166–183.
- 77 Мочкин А.Н. Социализм в поисках третьего пути // Общественные науки и современность. 1998. № 5. С. 100–107.
- 78 Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века). М., 2000. С. 21.
- 79 Сталин И.В. Марксизм и национально-колониальный вопрос. М., 1934. С. 146.
- 80 Раушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993. С. 148.
- 81 Ленин В.И. ПСС. Т. 28. С. 181.
- 82 Лефор К. Политические очерки (XIX–XX века). М., 2000. С. 21.
- 83 Богданов А.А. Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990. С. 28.
- 84 Там же.
- 85 Там же. С. 32.
- 86 Там же. С. 35.
- 87 Там же.
- 88 Там же. С. 39.
- 89 Там же.
- 90 Там же.

- 91 *Nietzsche F.* The Will to Power. N.Y., 1967. P. 513.
- 92 *Богданов А.А.* Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990. С. 69.
- 93 Там же.
- 94 *Ницше Ф.* ПСС. Т 1. М., 1912. С. 177.
- 95 *Богданов А.А.* Вопросы социализма. Работы разных лет. М., 1990. С. 205.
- 96 Там же. С. 265.
- 97 Там же. С. 287.
- 98 *Мочкин А.Н.* Кровь и почва прусского социализма О.Шпенглера // *Философские науки.* 1995. № 5–6.
- 99 *Ленин В.И.* ПСС. Т. 33. М., 1974. С. 101.
- 100 *Богданов А.А.* Письмо Луначарскому от 19 ноября (2 декабря) 1917 // *Богданов А.А.* Вопросы социализма. М., 1990. С. 353.
- 101 *Виннерман В.* Европейский фашизм в сравнении 1922–1982. Новосибирск, 2000. См. особенно: Послесловие: Был ли вообще фашизм? С. 181–194.
- 102 Там же. С.185.
- 103 *Арон А.* Демократия и тоталитаризм. М., 1993. С. 241–242.
- 104 *Шмитт К.* Политическая теология. М., 2000. С. 206.
- 105 Там же. С. 217.
- 106 *Ленин В.И.* ПСС. Т. 33. М., 1974. С. 88.
- 107 Там же. С. 88–89.
- 108 *Шмитт К.* Политическая теология. М., 2000. С. 243.
- 109 Там же. С. 244.
- 110 *Ленин В.И.* ПСС. Т. 33. С. 28. Та же мысль: С. 31, 37, 39, 42 и т.д.
- 111 Там же. С. 13.
- 112 Там же. С. 22.
- 113 Там же. С. 88–89.
- 114 Там же. С. 101.
- 115 *Мочкин А.Н.* «Кровь и почва» прусского социализма О.Шпенглера // *Философские науки.* 1995. № 5–6.
- 116 *Nietzsche F.* The Will to Power. N.Y., 1968. P. 339.
- 117 *Шпенглер О.* Прусская идея и социализм. Берлин. Б.г. С. 127.
- 118 *Шмитт К.* Политическая теология. М., 2000. С. 247.
- 119 *Ленин В.И.* ПСС. Т. 33. М., 1974. С. 20. «Всякое государство есть особая сила для подавления «угнетенного класса» (Интересно, какой класс угнетается при социализме, да еще в стране, где сам класс-гегемон является меньшинством и ему противостоит все остальное население, как это было, например, в России или в Германии, где «маргинальное движение» объявило себя движением всей нации — *А.М.*).

- 120 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 462–463.
- 121 Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 245.
- 122 Там же. С. 256.
- 123 Там же. С. 253.
- 124 Там же. С. 256.
- 125 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 338.
- 126 Nietzsche F. The Will to Power. N.Y., 1968. P. 495–496.
- 127 Heartle H. Nietzsche und der National sozialismus. Eher. Zentralverlag der NSDAP. München. 1937. S. 55.
- 128 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 66.
- 129 Мочкин А.Н. «Кровь и почва» прусского социализма О.Шпенглера // Философские науки. 1995. № 5–6. С. 253–262.
- 130 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 424.
- 131 Там же. С. 495.
- 132 Там же. С. 538.
- 133 Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990. С. 159.
- 134 Там же. С. 158.
- 135 Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 3.
- 136 Там же. С. 510.
- 137 Раушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993. С. 350–351.
- 138 Там же. С. 351.
- 139 Там же.
- 140 Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. См. главу V. Дионис. С. 148–176.
- 141 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 684.
- 142 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 694.
- 143 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 649.
- 144 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 694.
- 145 Там же. С. 763.
- 146 Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 153.
- 147 Мочкин А.Н. Парадоксы неоконсерватизма. М., 1999. С. 155–157. (Об оценке Ф.Ницше творчества Ф.М.Достоевского).
- 148 Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 157.
- 149 Там же.
- 150 Там же.
- 151 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. М., 2000. С. 368.
- 152 Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. С. 24.
- 153 Там же. С. 14.
- 154 Там же. С. 120.
- 155 Юнгер Э. Рабочий. СПб. 2000. С. 432.
- 156 Там же. С. 434.
- 157 Раушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993. С. 331.

Оглавление

Введение.....	3
ГЛАВА 1	
«ПУСТЫНЯ ШИРИТСЯ САМА СОБОЮ»	11
ГЛАВА 2	
ПРЕОДОЛЕНИЕ НИГИЛИЗМА НА ПУТЯХ ТОТАЛИТАРИЗМА	25
ГЛАВА 3	
ТОТАЛИТАРНЫЙ МИФ И ЕГО ГОРИЗОНТЫ	52
ГЛАВА 4	
НЕОКОНСЕРВАТИВНЫЙ ТОТАЛИТАРИЗМ ПРОТИВ ЛИБЕРАЛИЗМА	75
ГЛАВА 5	
ДИКТАТУРА БЕЗДНЫ	101
Заключение	118
Примечания.....	133

Научное издание

МОЧКИН Александр Николаевич

**РОЖДЕНИЕ «ЗВЕРЯ ИЗ БЕЗДНЫ»
НЕОКОНСЕРВАТИЗМА**

*Утверждено к печати Ученым советом
Института философии РАН*

В авторской редакции

Художник *В.К.Кузнецов*

Технический редактор *А.В.Сафонова*

Корректор *А.А.Смирнова*

Лицензия ЛР № 020831 от 12.10.98 г.

Подписано в печать с оригинал-макета 26.03.2002.

Формат 70x100 1/32. Печать офсетная. Гарнитура Таймс.

Усл. печ. л. 4,34. Уч.-изд. л. 5,85. Тираж 500 экз. Заказ № 010.

Оригинал-макет изготовлен в Институте философии РАН

Компьютерный набор: *Е.Н.Платковская*

Компьютерная верстка: *Ю.А.Аношина*

Отпечатано в ЦОП Института философии РАН

119992, Москва, Волхонка, 14

- 120 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 462–463.
- 121 Фуко М. Воля к истине. М., 1996. С. 245.
- 122 Там же. С. 256.
- 123 Там же. С. 253.
- 124 Там же. С. 256.
- 125 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 338.
- 126 Nietzsche F. The Will to Power. N.Y., 1968. P. 495–496.
- 127 Heartle H. Nietzsche und der National sozialismus. Eher. Zentralverlag der NSDAP. München. 1937. S. 55.
- 128 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 66.
- 129 Мочкин А.Н. «Кровь и почва» прусского социализма О.Шпенглера // Философские науки. 1995. № 5–6. С. 253–262.
- 130 Шпенглер О. Закат Европы. Т. 2. М., 1998. С. 424.
- 131 Там же. С. 495.
- 132 Там же. С. 538.
- 133 Богданов А.А. Вопросы социализма. М., 1990. С. 159.
- 134 Там же. С. 158.
- 135 Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 3.
- 136 Там же. С. 510.
- 137 Раушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993. С. 350–351.
- 138 Там же. С. 351.
- 139 Там же.
- 140 Жирар Р. Насилие и священное. М., 2000. См. главу V. Дионис. С. 148–176.
- 141 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 684.
- 142 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 694.
- 143 Леонтьев К.Н. Восток, Россия и славянство. М., 1996. С. 649.
- 144 Ницше Ф. Сочинения: В 2 т. Т. 2. М., 1990. С. 694.
- 145 Там же. С. 763.
- 146 Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 153.
- 147 Мочкин А.Н. Парадоксы неоконсерватизма. М., 1999. С. 155–157. (Об оценке Ф.Ницше творчества Ф.М.Достоевского).
- 148 Розенберг А. Миф XX века. Таллин, 1998. С. 157.
- 149 Там же.
- 150 Там же.
- 151 Юнгер Э. Рабочий. Господство и гештальт. М., 2000. С. 368.
- 152 Эвола Ю. Языческий империализм. М., 1994. С. 24.
- 153 Там же. С. 14.
- 154 Там же. С. 120.
- 155 Юнгер Э. Рабочий. СПб. 2000. С. 432.
- 156 Там же. С. 434.
- 157 Раушинг Г. Говорит Гитлер. Зверь из бездны. М., 1993. С. 331.